АКСАКОВЫ
ИХ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Биографические очерки В. Д. Смирнова
С двумя портретами,
гравированными в Париже и Петербурге

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- В. Д. Смирнов
  -
  - Глава I. Московский кружок славянофилов
  - Глава II. Центр московского славянофильства – дом Аксаковых
  - Глава III. Литературная деятельность С. Т. Аксакова
  - Глава IV. Константин Сергеевич Аксаков
  - Глава V. Славянофильская доктрина
  - Глава VI. Иван Аксаков. – Немезида славянофильства. – Славянофильство как классовая теория
  - Заключение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

В. Д. Смирнов
Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность
Биографические очерки
С двумя портретами, гравированными в Париже и Петербурге

С.Т. Аксаков

И.С. Аксаков

Глава I. Московский кружок славянофилов

«Славянофильство или руссицизм не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и массовый инстинкт, как противодействие исключительно иностранному влиянию существовало со времени обрития первой бороды Петром Великим».

Противодействие петербургскому «объевропеиванию» России никогда не перемежалось; казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там простреленное Меншиковым и другими царскими «потешными» в виде буйных стрельцов; убитое в равелине петербургской крепости в лице царевича Алексея, оно – это противодействие – является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как разнузданная брань гениального Ломоносова, как сама Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на престол: ведь народ в Москве ждал, что при ее короновании выйдет приказ избить немцев. Все раскольники – славянофилы по настроению. Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толли за его немецкую фамилию, были предшественниками Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда их задевают чужие; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтобы любить русскую историю, патриоты перекладывали ее на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский римско-греческий патриотизм Корнеля и Расина и не шли далее стиха:

> Pour un coeur bien ne, gue la patrie est chere!
> Как дорого отечество для благородно рожденного сердца!

Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограничено. Что же касается до настоящего народного слога, то его знал один офранцуженный

граф Растопчин, да и тот частенько перевирал его, преобразовывая в «балаганный стиль».

По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую циническую лесть «Северной пчелы», с другой – в пошлый загоскинский патриотизм, называвший Шую Манчестром, Шубуева – Рафаэлем, хваставший штыками и дистанцией огромного размера «от стен Кремля до стен Китая»…

Только при императоре Николае славянофильство из настроения обратилось в доктрину, теорию. В этом многое было повинно, и прежде всего режим николаевского царствования. Удивительное время!

«Создалась, – говорит г-н Любимов, большой сторонник Каткова и „Московских ведомостей“, – правительственная система, с которой не мог примириться ни один независимый ум, прилаживаться к которой свободная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побеждая себя, сосредоточивая внимание на светлых сторонах и закрывая глаза на темные, удовлетворяясь довольством личного положения, лицемеря вольно или невольно, чтобы не прать против рожна».

«Государственная идея, высокая сама по себе и крепкая в державном источнике ее, в практике жизни приняла исключительную форму „начальства“. Начальство сделалось все в стране. Все Кесареви, – Богови оставалось весьма немного. Все сводилось к простоте отношений начальника и подчиненного. Губернатор, при какой-то ссылке на закон, взявший со стола том свода законов и севший на него с вопросом: „где закон?“, был лицом типическим, в частности, добрым и справедливым человеком».

«В то время, – продолжает г-н Любимов, – купец торговал, потому что была на то милость начальства; обыватель ходил по улице, спал после обеда в силу начальственного позволения; приказный пил водку, женился, плодил детей, брал взятки по милости начальнического снисхождения. Воздухом дышали, потому что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала в воде, птицы пели в лесу, потому что так разрешено было начальством. Начальник был безответственен в отношениях своих к подчиненным, но имел, в тех же условиях, начальство и над собою. Для народа, несшего тяготы и крепостных, и государственных повинностей, с включением тяжкой рекрутчины, то было время нелегкой службы. Военные люди как представители дисциплины и подчинения имели первенствующее значение, считались годными для всех родов службы. Гусарский

полковник заседал в синоде в качестве обер-прокурора. Зато полковой священник, подчиненный обер-священнику, был служивый в рясе, независимый от архиерея… Всякая независимая от службы деятельность человека считалась разве только терпимой при незаметности и немедленно возбуждала опасение, как только чем-либо ясно обнаруживалась… Телесные наказания считались главным орудием дисциплины и основой общественного воспитания. От учения требовали только практической пригодности, наука была в подозрении. С 1848 года преследование независимости во всех ее формах приняло мрачный характер».

При таких обстоятельствах, при такой тягости жизни почва для утопий, для всяческих мечтаний готова. Славянофилы не замедлили выдвинуть на сцену свою утопию, свои мечтания, что было им так же необходимо, как глоток свежего воздуха задыхающемуся человеку. Обстоятельства заставили их организоваться, сплотиться и подыскать философские подпорки для своих вожделений.

Летом 1836 года в одном из журналов того времени появилось знаменитое письмо Чаадаева. «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно надо было проснуться».

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране мечтаний, непривыкшей к свободному говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. «После „Горя от ума“ не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними – десятилетнее молчание. Мысль исподволь работала, но ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать: „lasciate ogni speranza“.[1]

«Со второй, третьей страницы письма, – говорит современник, – меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Так пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие в жизни… Читаю далее – письмо растет, оно становится мрачным обвинительным актом, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце».

«Каждый чувствовал тяготу. У каждого было *что-то* на сердце и все-таки все молчали, наконец пришел человек, который

по-своему сказал – *что.* Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. Письмо Чаадаева – безжалостный крик боли и упрека петровской России, она имела право на него; разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?

«Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию, или он был бы совершенно прав, говоря, что „прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что „это пробел недоразумения, грозный урок, данный народам – до чего отчуждение и рабство могут довести“. Это было покаяние и движение. Оно и не прошло так. На минуту все, даже сонные и забитые воспрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство было оскорблено, человек десять громко и горячо аплодировали автору“.

История России – грозный урок, данный народам, «до чего отчуждение и рабство могут довести», – такова основная мысль Чаадаева. Искренняя, выстраданная, она, однако, несправедлива до резкости, до обиды. Комментируя ее, Чаадаев говорил: «в Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем зазвонил. Удивительный город, где достопримечательности отличаются нелепостью; или, может быть, этот большой колокол без языка – иероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя *славянами,* как бы удивляясь, что имеет слово человеческое»…

Нельзя было оставить без отпора такое неуважение. Чаадаев и славянофилы равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни; они равно спрашивали: «что же будет? Так жить невозможно; тягость и нелепость окружающего очевидно невыносима – где же выход?»

«Его нет», – отвечает человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре I в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, народ стонет под игом, горшем прежнего. «История других народов, – говорит он, – повесть их освобождения. Русская история – развитие крепостного состояния». «Переворот Петра сделал из нас худшее, что могло сделать из людей, – просвещенных рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, непонятые народом, отшатнувшиеся от него, – пора отдохнуть, пора свести в свою душу мир, прислониться к чему-нибудь». Это почти значило: «пора умереть», и Чаадаев «прислонился» к католицизму.

Славянофилы решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание живой души в народе, чутье их было проницательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России не смертельная, а лишь временная болезнь. И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славянофилов явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа – его будущность.

«Выход за нами, – говорили славянофилы, – выход – в отречении от петербургского периода, возвращение к народу, с которым разобщило иностранное образование: *воротимся* к прежним, допетровским нравам».

Верное хорошее настроение воплотилось в странную форму. История не возвращается: жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами: ни легитимисты не возвратились ко временам Людовика XIV, ни республиканцы – к 8 Термидору. Случившееся стоит писанного, его не вырубишь топором… хотя бы самой гильотины.

Нам, сверх того, и не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика, – а к ней-то и хотели славянофилы возвратиться, хотя они и не признаются в этом: как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и сами попытки возвратиться не к современной одежде крестьян, а к старинным неуклюжим *боярским* костюмам. И что это за ненависть к фракам и брюкам немецко-парижского покроя? Во всей России, кроме славянофилов, никто не носил мурмолок. К. С. Аксаков оделся так «национально», что народ на улицах принимал его за персиянина, как рассказывает, шутя, Чаадаев.

Мурмолки и персидские кафтаны должны были набрасывать тень на все славянофильские теории. Эта тень по необходимости сгустилась, когда узкий, назойливый, даже наглый, национализм нашел себе убежище и радушный прием в славянофильском лагере.

«Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве проездом панславист Гай. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше чем иностранец, он был „наш брат“ славянин. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить наших славян судьбою страждущих и православных братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и сверх того Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек *красного* православия, – К. Аксаков, –

разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее «не совсем» христианское выражение:

Упьюся я кровью мадьяров и немцев…

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил со своего места, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня; я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диз, – немец; я сбегаю его прирезать и сейчас же возвращусь». Гром смеха заглушил негодование».

Письмо Чаадаева заставило славян организоваться. В начале 40-х годов они были в полном боевом порядке со своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, со своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, как бы символически выходившее всегда двумя месяцами позже, чем следовало, но все же выходившее. При главном штабе состояли православные гегелианцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр., и пр. По всей линии происходили ожесточенные стычки с западниками. Эти постоянные, через день повторявшиеся стычки очень интересовали литературные салоны в Москве. Надо заметить вообще, что Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги, например «Мертвых душ», составляло событие. Критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с каким, бывало, во Франции или Англии следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир и в нем одном действительно совершался глухо и полунамеками протест против тяготы жизни. В лице западников, и Грановского по преимуществу, московское общество приветствовало рвавшуюся к свободе мысль Запада, – мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности.

Все это, разумеется, совершалось на вершинах общества,

нисколько не затрагивая массы. В то время и славянофильство, и западничество по необходимости были эзотерическими, «внутренними» учениями, истинный смысл которых был доступен лишь немногим посвященным.

«Я в Москве знал, – говорит один современник, – два круга, два полюса ее общественной жизни. Сначала я был потерян в обществе стариков гвардейских офицеров времени Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал другую, *молодую* Москву – литературно-светскую. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта – настоящая николаевская Русь – была бесцветна и пошла, без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов… Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А.С. Пушкин, давали тон декабристы, смеялся Грибоедов, где М. Орлов и А. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. Хомяков спорил до 9 часов утра, начавши в 9 вечера, где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, где Р. выводил логически личного Бога ad majorem gloriam Hegelii,[2] где Грановский являлся со своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными, где молодой старик А.П. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген, где Боткин и Крюков патетически наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, падал, как конгревова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало…»

В этих кружках за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипело. Москва принимала деятельное участие в спорах за мурмолки и против них, барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалели только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот. Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых встречались западники и славянофилы, а это бывало раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу – у

Свербеева, в воскресенье – у Елагиной. Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтобы посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого: приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был А.С. Хомяков, «Горгиас, совопросник мира сего», по выражению Морошкина. ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый в них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти было нельзя.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал *возможность разумом дойти до истины* (один из краеугольных догматов славянофильства); он приписывал разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или *зерна, даваемые откровением, получаемые верой.* Если же разум оставлен на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии. На этом Хомяков бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел за ними, шаг за шагом, и под конец дул на карточный дом логических формул, или подставлял ногу своим противникам и заставлял их падать в материализм, от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков торжествовал! Но, разумеется, он не мог не пасовать перед людьми, которые безбоязненно принимали *все* выводы науки, куда бы она ни вела их.

Тут же были и другие столпы славянофильства, братья Киреевские – Иван и Петр. Оба они стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения; непризнанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана, не расставались со своей глубокой грустью.

«Преждевременно состарившееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы. Жизнь ему не улыбалась. С жаром принялся он в своей юности за ежемесячное обозрение „Европеец“. Две вышедшие книжки были превосходны, при выходе второй *«Европеец»* был запрещен. Он поместил в *«Деннице»* статью о Новикове. «Денница» была схвачена, и цензор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое

состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг – он не вытерпел и уехал в деревню, затая в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистически настроенный.

Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с западниками, ни со славянофилами. Между ним и западниками была стена веры и церковных православных догматов. В то же время поклонник свободы и принципов французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новых старообрядцев-славян. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому: «Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом». С Иваном Киреевским было больно спорить, как больно спорить с разрушающимся человеком.

Характеристика славянофильского кружка вышла бы, однако, неполной, если бы мы забыли упомянуть о самом фантастическом проповеднике правоверия и народничества, К. Аксакове. Мы еще часто будем встречаться с ним, пока – всего несколько строк.

«Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, в диалектическом упоении мысли и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские. Мужающий юноша, и притом вечный юноша, он рвался к делу. В его убеждениях мы видим не неуверенное пытание почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не дальние надежды, а фанатическую веру, нетерпимую, одностороннюю, – ту, которая могла бы сдвинуть с места горы. Аксаков был односторонен, как всякий воин. Он был окружен враждебной средой, средой сильной и имевшей над ним большие выгоды, ему надо было пробиваться через ряды всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая уж тут терпимость!»

«Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительными. Он в начале 40-х годов *проповедовал сельскую общину, мир и артель.* Он научил Гаксгаузена понимать их и, последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом. «Москва – столица русского народа, – говорил он, – а Петербург –

только резиденция».

Аксаков остался до конца жизни вечно восторженным и беспредельно благородным юношей: он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда споры славянофилов с западниками дошли до того, что они уже не хотели более встречаться, Г. как-то шел по улице, К. Аксаков ехал в санях. Г. дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел к Г. «Мне было слишком больно, – сказал он, – проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вашу руку и проститься». Он быстро пошел к своим саням, но вдруг воротился. Г. стоял на том же месте; ему было грустно. Аксаков бросился к нему, крепко обнял его и крепко поцеловал. У него на глазах были слезы. Этому-то младенцу сердцем, но убежденному и непреклонному фанатику и пришлось играть главную роль в проповеди славянофильства. Можно себе наперед представить, сколько горячности было внесено в эту проповедь и к каким жизненным практическим результатам могла она привести!

Быстро и далеко зашла ссора из-за теоретических разногласий между западниками и славянофилами, и полемика за литературными чаями мало-помалу перешла в журнальную.

Грановский, Г. и другие кое-как еще ладили со славянофилами. Не уступая начал, они не делали из разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал своих друзей-западников за покладистость. «Я жид по натуре, – писал он одному из них из Петербурга, – и с филистимлянами за одним столом есть не могу. Грановский хочет знать, читал ли я его статью в „Москвитянине“ (орган славян)? Нет, и не буду читать. Скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания».

Зато честили его и славянофилы. «Москвитянин», раздраженный Белинским, раздраженный успехом «Отечественных записок» и успехом знаменитых лекций Грановского, защищался чем попало и всего менее жалел Белинского; он прямо говорил о нем, как о человеке опасном, жаждущем разрушения, радующемся при зрелище «пожара», и т. д.

«Москвитянин» был, главным образом, выразителем профессорского славянофильства двух своих редакторов, Погодина и Шевырева – этих сиамских близнецов, как их тогда называли. «Москвитянин» мало-помалу стал задевать уже не

только Белинского за его журнальные статьи, но и Грановского – за его лекции. И делалось это, к сожалению, с тем же несчастным отсутствием такта, который восстановлял против славянского органа всех порядочных людей. Шевырев и Погодин обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному порядку опасных идей. Грановский поднял их перчатку и смелым, благородным возражением заставил их покраснеть. Он публично с кафедры спросил своих обвинителей, почему он должен ненавидеть Запад, и зачем, ненавидя его развитие, стал бы он читать его историю.

«Меня обвиняют, – сказал Грановский, – в том, что история служит мне только для высказывания моего воззрения. Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если бы я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтобы рассказывать в большей или меньшей степени занимательно ряд событий».

Ответы Грановского были так просты и мужественны, его лекции так увлекательны, что славянские доктринеры притихли, а молодежь им рукоплескала. После курса был даже сделан опыт примирения. Западники давали Грановскому обед после его заключительной лекции. Славянофилы захотели участвовать. Пир был удачен; в конце его после многих тостов противники обнялись и поцеловались. Но виноваты в этом были лишь выпитые тосты.

Оказалось прежде всего невозможным умиротворить Белинского. Он слал своим друзьям грозные письма из Петербурга, отлучал их, предавал анафеме и писал все злее и злее в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «вот вам она!» – он был прав. Дело заключалось в том, что некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть славянофилов умирающей рукою; по несчастию он избрал для этого опять-таки полицейскую нагайку. В пьесе под заглавием «Не наши» он называл Чаадаева отступником от православия, Грановского – лжеучителем, растлевающим юношество, Г. – слугой, носящим блестящую ливрею западной науки, и всех трех – изменниками отечеству.

Обстоятельство это, разумеется, прибавило много горечи в отношения обеих враждующих партий. Нашлись люди, которые с восторгом носились с доносом в стихах и читали его, где только было возможно. Имя поэта, имя чтеца, круг, в котором он жил, круг, который им восхищался, – все это раздражало умы. Славяне и западники стали друг против друга с обнаженными мечами,

враждующие, непримиримые, и это уже навсегда – вплоть до наших дней.

Видимую победу на первых порах одержали западники.

«На этот раз, – говорит современник, – победителями вышли не славяне. Общественное мнение громко решило в нашу (западническую) пользу. В глухую ночь, когда *«Москвитянин»* тонул и «Маяк» (другой славянофильский орган) не светил ему больше из Петербурга, Белинский, вскормивши своей кровью *«Отечественные записки»,* поставил на ноги их побочного сына («Современник» Н. Некрасова) и дал им обоим такой толчок, что они могли несколько лет продолжать свой путь с одними корректорами и батырщиками,[3] литературными мытарями и книжными грешниками. Белинского имени было достаточно, чтобы обогатить два журнальных прилавка и сосредоточить все лучшее в русской литературе в тех редакциях, в которых он принимал участие – в то время, как таланты Киреевского и Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей *«Москвитянину».*

Победа западников была, однако, как мы скоро увидим, скорее мнимая, чем действительная. Славянофильство было только дискредитировано, но не уничтожено, и дискредитировано столько же статьями Белинского, сколько собственной своей бестактностью. Основная его черта – полное отсутствие политического смысла, полная неопределенность гражданских вожделений – проявилась в нем на первых же порах.

Мыслящая часть общества стала на сторону западников. Эти последние все же знали, что им делать, и, несмотря на тягость окружающего, знали, чего хотеть, чего искать. В славянофилах же был силен элемент отчаяния, заставлявший их хвататься за соломинку и питаться иллюзиями, чтобы спасти себя от полного маразма и уныния. Посмотрите, как рассуждали их главари.

Хомяков твердил постоянно, что так как разум не может дать никакого ответа на вопросы о Боге, бессмертии души и т. д., *то* нужна вера. В сущности говоря, между недостаточностью разума и необходимостью веры никакой логической связи нет. Вера спасительна лишь в том случае, если она *есть,* никакая аргументация в защиту ее необходимости не заставит меня проникнуться ею. Хомяков побеждал своих противников лишь потому, что те были робкие люди, готовые постоянно прятать голову в песок. Но однажды маленький разговор с поразительной ясностью открыл всю несостоятельность его проповеди.

«Присутствуя несколько раз при его спорах, – рассказывает один современник, – я заметил, что Хомяков пугает своих робких противников, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, сам завлек его к „страшным“ выводам.

Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал черными, как смоль, кудрями и (уверенный в победе) улыбался.

– Знаете ли что, – сказал он вдруг, как бы удивляясь новой мысли, – не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое беспрерывное брожение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.

– Я вам и не говорил, – ответил я ему, – что я берусь это доказывать, – я очень хорошо знал, что это невозможно.

– Как? – сказал Хомяков, несколько удивленный, – вы можете принимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции, и в вашей душе ничего не возмущается?

– Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их, или нет.

– Ну, вы, *по крайней мере* [4]*, последовательны;* однако, как человеку надо *свихнуть себе душу,* чтобы примириться с этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть к ним!

– Докажите мне, что *не наука* ваша истина, и я приму *ее* выводы так же откровенно и безбоязненно.

– Для этого надобно веру.

– Но, Алексей Степанович, вы знаете: «на нет и суда нет».

Хомяков утверждал недостаточность разума. Но что другое как не тот же недостаточный разум показал ему необходимость веры? Получилось безысходное противоречие. Но надо было схватиться за соломинку, чтобы не принимать результатов «свирепейшей имманенции», надо было за отсутствием истинной веры изобресть ее суррогат – недостаточность разума.

Таким же суррогатом питался и И.Киреевский. По поводу общеизвестного его рассказа об иконе Владимир Соловьев делает немало остроумных замечаний, говоря между прочим:

«По Киреевскому выходит, что предмет народной веры всецело создается самой этой верой: икона перестает быть простой доской с изображением и становится священным и даже чудотворным предметом лишь посредством многовекового накопления молитв и возношений: она, так сказать, намагничивается обращенной на нее душевной силой верующего народа. Но с чего же этот народ стал вдруг в нее верить? По обыкновенным религиозным понятиям истинная вера обусловлена известными священными предметами, которые имеют действительное значение сами по себе; икона не потому свята, что ей молятся, а, наоборот, ей молятся, потому что она свята. Если же допустить с Киреевским, что святость и чудесная

сила сообщаются иконе только накоплением людских молитв и слез, – то, спрашивается, к чему же первоначально обращались эти молитвы, перед чем проливались эти слезы? Детская вера простого народа обратила к православию родоначальника славянофильства; но сама эта народная вера, по его же взгляду, могла быть первоначально лишь каким-то случайным самообольщением или бессмысленным фетишизмом. Так, даже при самых лучших чувствах, не удается искусственное, преднамеренное, субъективными мотивами вызываемое сближение с народом. Даже искренно верующий славянофил все-таки остается внутренне чужд и непричастен народной вере. Он верит в народ и в его веру, но ведь народ верит не в самого себя и не в свою веру, а в независимые от него и от его веры религиозные предметы».

Сколько искусственного, деланного в такой вере, и сколько душевного отчаяния в этих попытках. На совершенно справедливую мысль, что Россия велика и могуча, что у ней есть будущее, несмотря *ни на что,* славянофилы нагромоздили настроенное здание – храм без Бога, и украсили его иконами, к вере в которые возбуждали сами себя! Совершенно верно замечено про них:

«В первую минуту, когда Хомяков почувствовал пустоту душевную, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X, докончив в Париже свою забытую трагедию „Ермак“ и потолковавши со всякими далматами и чехами на обратном пути, – он воротился. Все скучно! По счастью открылась турецкая война, он пошел в полк *без нужды, без цели* и отправился в Турцию. Война кончилась и кончилась другая забытая трагедия «Дмитрий Самозванец». Опять скука!»

«В этой скуке, в этой тоске, при этой странной и страшной обстановке, мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмеяна; *тем яростнее* бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже она вошла в плоть и кровь Киреевского. Семя было брошено. На посев и защиту всходов пошла сила первых славянофилов. Надо было людей нового поколения, не свихнутых, не подломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учители, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв, люди Станкевичева кружка примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как К. Аксаков и Юрий Самарин».

Глава II. Центр московского славянофильства – дом Аксаковых

Думаю, что, нисколько не преувеличивая дела, можно считать дом Аксаковых центром московского славянофильства. Здесь, на самом деле, они любили собираться своим кружком или «скопом», как они выражались. Здесь ораторствовал Хомяков, здесь вырос «пророк» славянства – Константин Аксаков, здесь же напитался славянским духом его знаменитый брат – Иван Сергеевич. Обстановка этого дома, его обиход, мелкие и крупные подробности его жизни – все это отпечатлелось на славянофильской доктрине в ее окончательном виде, все это носит на себе основной и резко заметный характер барства, – того барства, которым когда-то так славилась Москва. Полагаю, что барского характера разбираемой доктрины никто отрицать не станет, хотя почему-то никто до сей поры не подчеркивал его. А между тем, как увидит читатель, здесь-то и кроется ключ к объяснению многих и многих особенностей славянофильства. Не хотели отметить до сей поры, что и это учение, как почти все учения, волновавшие до сей поры мир и людей, – есть *классовое* порождение.

Характеристику «дома» начну с отца – С. Т. Аксакова.

«Сергей Тимофеевич, – пишет Панаев, – был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью. Аксаковы тогда (в 40-х годах) жили в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочисленного семейства Аксакова требовалась многочисленная прислуга. Дом его был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем, а патриархальная, широкая, помещичья жизнь, перенесенная в город. Дом Аксакова и снаружи, и внутри по устройству, распоряжению совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: „обширный двор, людская, сад и даже бани в саду“. «Дом Аксаковых, – говорит в другом месте Панаев, – с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий стол по крайней мере на 20 кувертов.[5] Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться. Я по крайней мере полюбил их всей душой».

Во главе семьи и дома стоял Сергей Тимофеевич Аксаков, знаменитый впоследствии автор «Семейной хроники».

«Он был высок ростом, крепкого сложения и не обнаруживал еще ни малейших признаков старости. Выражение лица его было

необыкновенно симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора, когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник». Характер добродушной патриархальности, лежавший на всем складе домашней обстановки Сергея Тимофеевича, остался неизменным вплоть до самой смерти его. Панаев знавал дом Аксаковых в самом конце тридцатых годов и начале сороковых. Но таким же его рисуют люди, которые столкнулись с Сергеем Тимофеевичем в середине пятидесятых годов. «Дом Аксакова, – пишет Лонгинов, – был одним из приятнейших в Москве. Нравственное влияние Сергея Тимофеевича было ощутительно не в одном семействе. Примерный супруг, отец, брат, он был и образцом друзей, к которому шли за советом и помощью его многочисленные друзья. Он умел с первого раза приобретать любовь и доверие всякого и никому не отказывал в своем содействии или участии, а, напротив, сам вызывался на услуги. Это была душа чистая, исполненная христианских чувств, и в то же время ум светлый, прямой, соединенный с характером откровенным, возвышенным и энергическим. Он сохранил до глубокой старости, среди тяжких недугов, участие ко всему прекрасному и силу воли вместе с какою-то младенческою ясностью души».

Эта-то «младенческая ясность души», переданная Сергеем Тимофеевичем по наследству обоим своим знаменитым сыновьям, и составляла, кажется, отличное свойство характера главы дома Аксаковых. Лонгинов говорит еще об «энергии» и «возвышенности», но, думается, совершенно напрасно. По крайней мере во всем, что вышло из-под пера Сергея Тимофеевича, ни энергии, ни возвышенности не видно, а видна, кроме огромного, чисто стихийного литературного таланта (кстати сказать, и до сей поры неоцененного), именно эта младенческая ясность души, это незлобие духа, целиком обломовского и барского, словом – духа легкой привольной жизни.

Сергей Тимофеевич – фигура заметная. Не напиши он ни одной строчки, все же нельзя было бы миновать его характеристики, так как он славен своими сыновьями: а их имен не вычеркнет историк умственного развития России, как бы ни относился он к славянофильству. Я посвящу ему несколько страниц, подчеркивая в рассказе лишь те черты, которые характерны для настроения «славян».

Он родился в Уфе 20 сентября 1791 года. Кто читал «Семейную хронику», тот помнит, до каких чрезвычайных, резких проявлений доходила болезненная впечатлительность маленького

Багрова. Это черта автобиографическая, как и все остальное в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука», где надо только подставить вместо Багровых Аксаковых, чтобы получить правдивую летопись событий первых лет жизни Сергея Тимофеевича. Обаятельная фигура интеллигентной, красивой, энергичной и вместе с тем безумно нежной матери маленького Багрова хотя и отзывается идеализацией, но едва ли слишком противоречит действительности. В «Семейной хронике» есть страница классическая в смысле изображения героизма материнского и вообще семейного чувства, и роль героини играет здесь мать Сергея Тимофеевича. Узнавши, что сын ее, отданный в Казанскую гимназию, неожиданно захворал, Аксакова бросила все и, несмотря на распутицу, пустилась в путь.

«В десять дней, – сказано в „Семейной хронике“, – дотащилась моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здесь вышла уже большая почтовая дорога, крепче уезженная, а потому ехать по ней представлялось более возможности, но зато из Мурзихи надобно было переехать через Каму, чтобы попасть в село Шуран, находящееся в 80 верстах от Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинела; накануне перенесли через нее на руках почту, но в ночь пошел дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ее спутников на другую сторону. Мать моя принуждена была ночевать в Мурзихе; боясь каждой минуты промедления, она сама ходила из дома в дом по деревне и умоляла добрых людей помочь ей, рассказывала свое горе и предлагала в вознаграждение все, что имела. Нашлись добрые и сильные люди, понимавшие материнское сердце, которые обещали ей, что если дождь в ночь уймется и к утру хоть крошечку подмерзнет, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмут то, что она пожалует им за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя на коленях перед образом той избы, где провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: ветер разогнал облака и к утру мороз высушил дорогу и тонким ледочком затянул лужи. На заре шестеро молодцов, рыбаков по промыслу, выросших на Каме и привыкших обходиться с нею во всяких ее видах, каждый с шестом или багром, привязав за спину нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крест, взяли под руки обеих женщин, обутых в мужские сапоги, дали шест Федору, поручив ему тащить чуман, т. е. широкий лубок, загнутый спереди кверху и привязанный на веревке, взятый на тот случай, что неровно барыня устанет, – и отправились в путь, пустив вперед самого расторопного из своих товарищей для ощупывания дороги. Дорога лежала вкось, и надобно было пройти около трех верст. Переход через огромную

реку в такое время так страшен, что только привычный человек может совершить его, не теряя бодрости и присутствия духа. Федор и Параша просто ревели, прощались с белым светом и со всеми родными, и в иных местах надобно было силою заставлять их идти вперед, но мать моя с каждым шагом становилась бодрее и даже веселее. Провожатые поглядывали на нее и приветливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыни, перебираться по сложенным вместе шестам, через трещины; мать моя ни за что не хотела сесть на чуман, и только тогда, когда дорога, подошед к противоположной стороне, пошла возле самого берега по мелкому месту, когда вся опасность миновала, она почувствовала слабость, сейчас постлали на чуман меховое одеяло, положили подушки, мать легла на него, как на постель, и почти лишилась чувств: в таком положении дотащили ее до ямского двора в Шуране. Мать моя дала сто рублей своим провожатым, но честные люди не захотели ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнациями). С изумлением слушая изъявления горячей благодарности и благословения моей матери, они сказали ей на прощанье: „дай вам Бог благополучно доехать“, и немедленно отправились домой, потому что мешкать было некогда: река прошла на другой день».

Безумно, нежно любимый, под крылышком у матери, готовой воспринять смертную казнь, чтобы только сыну ее было хорошо, рос Сергей Тимофеевич в дворянском гнезде. Жизнь была привольная, хотя и не роскошная, и это приволье чувствовалось во всем: и в природе – тогда, в начале нашего века, неограбленной еще человеком, и в воспитании, не подчиненном никакой феруле,[6] и в окружающей помещичьей среде, провинциальной, тихой, в собственном кругу добродушной. Крепостной труд был тем пуховиком, на котором нежились и размякали холеные члены старых и молодых Обломовых – отца Сергея Тимофеевича, доброго, мягкого человека, неспособного ни на дурное, ни на хорошее, его самого, будущего знаменитого писателя, а большую часть жизни просто русского барина, про которого трудно даже сказать что-нибудь определенное. Несколько противоречит этой картине фигура Багрова-деда, энергическая, отчетливо выраженная, но и она, в сущности, мало нарушала тишь и благодать аксаковщины.

Десяти лет от роду Сергея Тимофеевича отдали в Казанскую гимназию, а 4 года спустя он совершенно неожиданно попал в студенты. Что это был за студент – 14-летний мальчик, плохо даже грамотный, – представить нетрудно, но так как в Петербурге распорядились открыть Казанский университет, то, очевидно,

нужны были и студенты. И вот часть гимназии была отдана под университет, часть преподавателей назначена профессорами, а лучшие из учеников старших классов «произведены» в студенты. Благодаря протекции в число последних попал и С. Аксаков, хотя сам он сознается, что по познаниям своим далеко не заслуживал такого «производства», и «слушая университетские лекции, он в то же время весьма благоразумно продолжал по некоторым предметам учиться в гимназии».

«Мало вынес я, – рассказывает сам Аксаков, – научных сведений из университета не потому, что он был еще очень молод, не полон и не устроен, а потому, что я был слишком молод и детски увлекался в разные стороны страстностью своей природы. Во всю жизнь чувствовал я недостаточность этих научных сведений, особенно положительных знаний, и это много мешало мне и в служебных делах, и в литературных занятиях».

Жизнь очень и очень многих старых бар складывалась без всяких душевных бурь, без всяких треволнений. Шла она благополучно в гимназии, в университете, на службе и тихо угасала на перине, без исканий, без уклонений в сторону. Своеобразный фатум, пожалуй даже предопределение, изложенное в разных грамотах, пожалованных российскому дворянству, руководило ею. Надо было только не выходить из рамок. Но ведь обломовщина справедливо считается основной чертой старорусского характера, и «горе от ума» для него гораздо менее характерно, чем страдание от ожирения.

«Горя от ума» С. Аксаков не знал совершенно. Жизнь как-то проходила мимо него, не зацепляя его и лишь добродушно улыбаясь ему в ответ на его постоянно добродушную улыбку. В немногие строки укладывается «бурный период» его юности.

«В 1808 году семейство Аксаковых переезжает в Петербург, и, по совету Карташевского, Сергей Тимофеевич определяется переводчиком комиссии составления законов. Как это место, так и время определения на него было такого рода, что, не будь молодой чиновник всецело поглощен сценическими интересами, он мог бы весьма значительно расширить свой умственный кругозор. Он это не сделал и даже его увлечение сценой прошло бесследно, ибо за всю жизнь Сергей Тимофеевич, если не считать переводов, не обмолвился ни единой драматической строчкой, и таким образом все его общение с театральными сферами сводилось к тому, что он вертелся за кулисами».

Прибавлять к этому нечего: впечатления закулисной жизни нисколько не нарушали «младенческой ясности души», а когда эта последняя захотела определиться, то естественно, что она вылилась в теорию, вполне соответствующую ей по своей

наивности.

Из воспоминаний С.Аксакова мы знаем, что еще студентом в Казани он недолюбливал Карамзина и пришел в великий восторг от знаменитого шишковского «Рассуждения о старом и новом слоге» и прибавлений к нему. «Эти книги совершенно свели меня с ума, – рассказывает Сергей Тимофеевич. – Я уверовал в каждое их слово, как в святыню. *Русское* мое направление и *враждебность* (откуда бы быть ей, кажется?) ко всему иностранному укрепились сознательно, и темное чувство национальности выросло до исключительности!» Еще более велик был восторг Аксакова, когда один из его сослуживцев по комиссии составления законов, Казначеев, оказался родным племянником Шишкова и когда этот племянник, такой же ярый славянофил, как и его дядя, узнав об образе мыслей Сергея Тимофеевича, обещал его на следующий же день познакомить с адмиралом. Знакомство состоялось, и Сергей Тимофеевич стал домашним человеком у творца теории, по которой следовало говорить вместо «министр» – «деловец государственный», вместо «ассистент» – «присутственник», вместо «аллея» – «прохожь» и т. д.

Очевидно, что под таким влиянием «русское мое направление» и «враждебность (!) ко всему иностранному» должны были еще укрепляться до крепости замороженной воды. Увлекшись – или, лучше сказать, на обломовском жаргоне – *допустив* себя увлечь национализмом, Аксаков восторгался, например, Николаевым и называл его бессмертным, хотя Николаев знаменит лишь стихами, перед которыми пасует сам Тредьяковский. Возьмите хотя бы такой вот апофеоз России:

> Блистал конь бел под ним, как снег Атлантских гор,
> Стрела летяща – бег, свеча горяща – взор,
> Дыханье – дым и огнь, грудь и копыта – камень,
> На нем Малек-Адель – или сражений пламень.

Такими стихами Аксаков восторгался. «Россия!» – твердил он. А вот удивительно, как, например, события 1812 года прошли совсем мимо него. По крайней мере С. А. Венгеров говорит:

«Время нашествия Наполеона и следующие два года Сергей Тимофеевич провел в деревне. Он не только не принял никакого участия в событиях этих бурных лет, но как-то они даже впечатления никакого на него не произвели, так что в его воспоминаниях, необыкновенно подробных и прямо даже утомительных тем, что в них обстоятельно говорится буквально о каждом пустяке, *для событий Отечественной войны, как и для всех остальных явлений общественной жизни, и места не нашлось*

даже. Не можем не подчеркнуть этого обстоятельства, потому что оно очень характерно для того, чтобы показать, до чего умственная жизнь молодого Аксакова была заполнена декламацией и всякими театральными интересами».

В период Отечественной войны Аксаков не делал даже того, что делали все остальные дворяне – не кричал «ура» и не снаряжал батальонов из дворовых. Он мирно почивал в своей Аксаковке – истинный Обломов во всем, что касалось общественности.

В сущности его жизнь превращается в календарь. В 1816 году он женился; 1816–1820 года прожил исключительно в деревне, в 1826 году поселился на постоянное жительство в Москве; в 1827 году для увеличения доходов стал цензором и наивно жестоко преследовал «Московский телеграф» Полевого – лучший и несомненно прогрессивный журнал своего времени, служил в Межевом училище, сначала инспектором, потом директором и, вероятно, умер бы на перине, если бы некоторые обстоятельства не пробудили его громадного, но спавшего все время литературного таланта.

Глава III. Литературная деятельность С. Т. Аксакова

Есть таланты деятельные, энергичные, ищущие путей; есть другие – вялые, совершенно бессознательные, без настоящего внутреннего импульса, которые ждут, чтобы их натолкнули на работу, указали бы им настоящий род творчества, и только в таком случае «исполняют они дело свое». Обломов-Аксаков 50 лет своей жизни подчинялся тому, про что ему говорили – «это хорошо». Он восторгался Шишковым, Николаевым, Кукольниковым – даже водевилистом Писаревым. Ему натолковали, что это «гений», и как раз *таким* гением ему и хотелось быть. Он переводил Буало, ложноклассические трагедии, сочинял водевили и был как нельзя более доволен собою. Он и не подозревал даже, какая в нем скрыта громадная синтезирующая машина действительности! Он настойчиво приподнимал свой слог до «высокого штиля»; свои чувства – до «грома победы»; свои мысли – до «теории русского национализма», не подозревая даже, что все это совершенно не нужно, что это – лишь обломовщина, приподнявшаяся с кровати и старающаяся продрать глаза. Ему неведомо было, что он знал, что он чувствовал: знания и чувства дремали, а спросонок можно было перекрещивать целые страницы «Московского телеграфа» – якобы «вредного» и антипатриотического журнала русского.

Гоголь разбудил С. Т. Аксакова; Гоголь – это таинственно-страшная сила, неоценимая и неоцененная, чей смех, надеюсь, будет еще преследовать и нашу русскую жизнь вообще – еще много и много лет, – показал Аксакову его самого.

Сергей Тимофеевич стал писать очень рано – лет 16; сначала – мадригалы, потом – пасторали и, в сущности, всегда и повсюду перевоплощал свой первый мотив:

Друг весны, певец любезнейший,
Будь единой мне отрадою,
Уменьши тоску жестокую,
Что снедает сердце страстное,
Пой красы моей возлюбленной,
Пой любовь мою к ней пламенну,
Исчисляй мои страданья все,
Исчисляй моей дни горести и т. д.

Неискренность и выдумка, самовзвинчивание и самоподымание на дыбы – вот краткая характеристика литературной деятельности Аксакова за первый период. Знакомством с Гоголем начался второй – плодотворнейший:

«Известно, – говорит С. А. Венгеров, – что к Гоголю дурно относились не только самые старинные литературные друзья Сергея Тимофеевича – разные ископаемые приверженцы шишковских теорий, но почти вся тогдашняя литература. Еще люди добродушные, вроде последнего из прежних знакомцев Сергея Тимофеевича – Загоскина, просто не понимали Гоголя, но большинство литераторов прямо возненавидели малороссийского „шута“, когда публика начала зачитываться его „сказками“. Исключение составлял молодой московский университетский кружок как в профессорской своей части, так еще более в своей студенческой части, группировавшейся около проходивших тогда университетский курс Константина Аксакова, Станкевича и Белинского. В своих неоконченных воспоминаниях о Гоголе Сергей Тимофеевич прямо говорит, что только одна московская университетская молодежь и прозрела сразу, что в лице Гоголя народился гениальный писатель.

Во главе этих энтузиастов шел Константин Сергеевич, сразу повысивший температуру отношений, завязавшихся в начале тридцатых годов между домом Сергея Тимофеевича и Гоголем, до точки, которой они никогда бы не достигли, если бы дом Аксаковых имел своим представителем одного только степенного и уже пожилого тогда Сергея Тимофеевича. Константин Аксаков относился к Гоголю с таким молитвенным восторгом, что заражал им решительно всех окружающих, и в результате автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» так тепло принимали в доме Сергея Тимофеевича, так баловали и окружали всякого рода предупредительностью, что и он, в свою очередь, не мог не платить таким же отношением. Целых двадцать лет, с 1832 года до самой смерти Гоголя, тянулась эта дружба, поддерживаемая и личными сношениями, и перепиской, и вообще всякого рода духовным общением. В доме Сергея Тимофеевича Гоголь обыкновенно читал в первый раз свои новые произведения, и в свою очередь Сергей Тимофеевич Гоголю первому читал свои беллетристические произведения еще в то время, когда ни он сам, ни его окружающие не подозревали в нем будущего знаменитого писателя».

Нельзя даже и сомневаться в том, что сам Сергей Тимофеевич не только бы не оценил Гоголя, а отнесся бы к нему прямо враждебно, так как на самом деле от «Мертвых душ» к соловьиным песням никакого моста перекинуть нельзя. К

счастью, на этот раз нашлись другие «толкователи», и во главе их стоял старший любимый сын Сергея Тимофеевича – Константин, который, по поводу первого тома «Мертвых душ», издал свою известную брошюру «Несколько слов о поэме Гоголя…»

Основная мысль брошюры заключается в том положении, что в «Мертвых душах» мы видим величавое эпическое созерцание древних, утраченное в продолжение веков и снова восстающее перед нами во всей своей неувядаемой красоте и что у Гоголя мы встречаем такую «полноту и конкретность» создания, какою отличаются только создания Гомера или Шекспира. «Только Гомер, Шекспир и Гоголь, – говорит К.Аксаков, – обладают этой тайной искусства». Подобно тому, как у Гомера мы видим «все образы природы человека, заключенные в созерцаемом мире, и – соединенные чудно – глубоко и истинно шумят волны, несется корабль, враждуют и действуют люди», так и поэма Гоголя «представляет целую сферу жизни, целый мир, где, как у Гомера, свободно шумят и блещут волны, всходит солнце, красуется вся природа и живет человек». Большинство читателей, по мнению Аксакова, не подготовлено к тому, чтобы вполне понять и оценить поэму Гоголя, именно потому, что утеряло вкус к истинной классической красоте и приходит в недоуменье перед непривычным или, лучше сказать, забытым характером поэтического творчества. В первых же строках брошюры К. Аксаков заявляет о «Мертвых душах», что перед нами возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, – давно унижаемой, древний эпос восстает перед нами». Выясняя величие и всеобъемлющее значение древнего эпоса, К. Аксаков отмечает постепенное «обмеление его на Западе» и затем провозглашает наступление новой эры художественного творчества в поэме Гоголя, где «тот же глубоко проникающий и всевидящий эпический взор».

«К.С. Аксаков, – говорит Н. Шенрок, – замечает, что „все – и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади от Заседателя до Чубарого, и даже бричка – все это, со всею своею тайною жизни Гоголем постигнуто и перенесено в мир искусства“. В грубую ошибку впадают те читатели и рецензенты, которые прежде всего хотят видеть в новом произведении анекдот, спешат искать завязку романа, „на все это молчит поэма“, потому что такое воззрение в отношении к ней слишком близоруко и грубо, оно устремляется на мелочи и частности и не видит отражения в поэме „безбрежного океана жизни“. Столь же нелепым представляется автору брошюры недовольство некоторых критиков тем, что „лица у Гоголя сменяются без особенной причины, тогда как это именно и является

естественным следствием истинного эпического созерцания, в котором „один мир объемлет все эти лица, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним“, и „древний, важный эпос является в своем величавом течении!“ Но особенно широкие надежды возлагает К.С. Аксаков на продолжение поэмы и видит в первом томе, – без сомнения, под влиянием самого Гоголя, – лишь начало реки, „дальнейшее течение которой, Бог знает, куда приведет нас и какие явления представит“. Уже в первом томе, в некоторых местах, в описании скорой езды Чичикова, критик предполагает отчасти вскрытие завесы с «общего субстанциального чувства русского“.

Вся статья вообще преисполнена самого восторженного молодого увлечения, внушенного автору и личным расположением к Гоголю, и неувядаемой прелестью его созданий, увлечения, доходящего до того, что, соглашаясь признать слог Гоголя необразцовым, критик неожиданно восклицает: «И слава Богу! Это был бы недостаток».

Такие восторженные и, в сущности, далеко не безосновательные речи старшего любимого сына не могли не подчинить себе Сергея Тимофеевича. Художественное чутье подсказывало ему, что в поэме Гоголя действительно есть что-то высокое, неразгаданное, а с другой стороны, как прекрасно шла к русофильскому миросозерцанию мысль, что у нас *«свой* Гомер, *свой* Шекспир…» Но что делал *наш* Гомер и Шекспир? Он только доверялся своему чувству, только описывал жизнь, как видел и понимал ее. Так скоро стал поступать и сам С. Т. Аксаков. В отношении к нему гений Гоголя был жезлом Моисея, раскрывающим источник живой воды среди голой и мертвой пустыни.

«Близость с Гоголем до странного скоро повлияла на Сергея Тимофеевича, сообщила его петербургской деятельности направление диаметрально противоположное тому, которого он до сей поры держался». Он перестал «выдумывать», перестал взвинчивать себя на «высокий штиль», садясь за письменный стол, а это все, что требовалось. Он начал рассказывать публике то, что действительно знал, любил и помнил. Он знал природу средней полосы России, любил ее и до мелочности помнил все ее впечатления, знал, любил и помнил предания собственного семейства и, доверившись своей любви, создал свои знаменитые «Записки об уженьи рыбы», «Записки ружейного охотника», и, наконец свою «Семейную хронику» – этот лучший из известных мне исторических документов стародворянской жизни.

Охотничьи записки Сергея Тимофеевича имели громкий успех. Имя автора, до тех пор известное лишь его литературным

приятелям, прогремело по всей читающей России. Его изложение было признано образцом прекрасного «стиля», его описания природы – дышащими поэзией, его характеристика «птиц и зверей» – мастерскими портретами. «В ваших птицах больше жизни, чем в моих людях», – говорил ему Гоголь. И правда, под пером Аксакова эти птицы жили своей несложной красивой жизнью…

Но «Записки об уженьи рыбы» и «Ружейного охотника» были лишь пробами талантливого пера. Весь обломовский гений Аксакова проявился лишь в его знаменитой «Семейной хронике». Такой преданности семейным преданиям, такой любви к родному углу, такой памяти о своей родне – вы не найдете ни в какой другой русской книге. Раскрывши первую страницу, вы уже видите, чем вспоено, вскормлено, на чем выросло сердце Сергея Тимофеевича Аксакова, что дало ему устои на всю жизнь, что образовало его взгляд, его темперамент. Любовь к прошлому, к своему родному – проникает каждую строку и неотразимо действует на читателя.

«Наряду с пейзажем и общим колоритом свежести и непосредственности, – говорит С.А. Венгеров, – остается неизменным в „Семейной хронике“ и другой элемент, сообщающий такую высокую художественную ценность звероловным книжкам Сергея Тимофеевича, – его уменье давать яркие и выпуклые характеристики. И так в тех же звероловных книжках это умение тоже имеет своим источником удивительную беллетрическую память Сергея Тимофеевича, пронесшую через многие десятилетия сотни и тысячи характерных подробностей. Само собою разумеется, что человек, проявивший поразительную наблюдательность относительно нравов птиц, рыб и зверей, тем в большей степени должен был проявить ее, когда дело коснулось близких ему людей и обстановки, среди которой он провел наиболее впечатлительные годы жизни. И действительно, число сохранившихся в памяти Сергея Тимофеевича подробностей о помещичьей жизни было так велико, что в „Детских годах Багрова-внука“ оно ему даже сослужило весьма дурную службу, загромоздив рассказ чрезмерным множеством мелочей. Но в „Семейной хронике“ именно это поразительное богатство деталей придало всему произведению удивительную сочность и жизненность. Кто знаком с „Семейной хроникой“ даже только по вошедшему во все хрестоматии „Доброму дню Степана Михайловича“, согласится, конечно, что едва ли во всей русской литературе есть другая, более полная физиологическая картина помещичьей жизни доброго старого времени, с ее удивительной смесью симпатичнейшего добродушия и дикого, подчас даже

зверского самодурства. И как во всех истинных шедеврах литературы яркость и полнота картин и характеристик „Семейной хроники“ отнюдь не связана с болтливостью. Много ли занимают места портреты добродетельного деспота Степана Михайловича, бесцельно рвущейся куда-то Софьи Николаевны, ее кроткого и симпатичного мужа, наконец, характерной черты Куролесовых? Каких-нибудь 1,1 с 1/2 листа. Да и вся-то „Семейная хроника“ со всей галереей действующих лиц ее, со всеми ее разнообразными событиями, растянувшимися на пространстве многих лет, занимает меньше 15 листов разгонистой печати. А между тем, как все это резко запечатлевается в воображении читателя, как живо вырисовывается во весь свой рост. Такова сила истинно художественных приемов».

Несомненно, что горячая родственная любовь продиктовала Аксакову его книгу. А между тем, может ли быть что-нибудь отвратительнее нравов, выведенных в ней? Добролюбов, человек другого класса, другого времени, не нашел в «Хронике» ничего, кроме правдивой картины невыразимой мерзости: «Неразвитость нравственных чувств, – пишет он, – извращение естественных понятий, грубость, ложь, невежество, отвращение от труда, своеволие, ничем не сдержанное, – представляются нам на каждом шагу в этом прошедшем (изображенном в „Хронике“), теперь уже странном, непонятном для нас и, скажем с радостью, невозвратном… Да, все эти поколения, прожившие свою жизнь даром, на счет других, – все они должны были бы почувствовать *стыд,* горький стыд при виде самоотверженного труда своих крестьян. Они должны бы были вдохновиться примером этих людей и взяться за дело с полным сознанием, что жизнь тунеядца презренна и что только труд дает право на наслаждение жизнью. Они не совестились присвоить себе это наслаждение, отнимая его у других. Горькое, тяжелое чувство сдавливает грудь при воспоминании о давно минувших несправедливостях и насилиях…»

«Горького, тяжелого чувства» не было и не могло быть у С. Аксакова; напротив, его отношение к описываемому *чисто родственное.* Пороли – по-родственному, собирали оброк – по-родственному, продавали людей – и это по-родственному. Патриархальность нравов – и все тут. С этой точки зрения Хомяков был прав, утверждая, что С. Т. Аксаков «первый из наших литераторов взглянул на русскую жизнь положительно, а не отрицательно».

Hier ist der Hund begraben [7]. В сущности говоря, то настроение, которое создало «Семейную хронику», было

распространено впоследствии Константином Аксаковым на всю старорусскую, допетровскую жизнь. К чему же оно сводилось и как может быть оно формулировано?

Старую песню о том, что крепостные отношения в значительной степени сглаживались и даже красились тем обстоятельством, что они были отношениями между живыми людьми, непосредственно близкими друг другу, непосредственно знавшими друг друга, слышал, полагаю, всякий. Барин благожелательно относился к своим Петрам и Иванам, а Петр и Иван чувствовали преданность. «Вы наши отцы, а мы – ваши дети», – говорили Петр и Иван, низко кланяясь господам, сидевшим под божницей. Что там и здесь подобная идиллия существовала на практике – несомненно, *в теории же* стародворянского быта она была господствующей. Личный характер отношений – вот, словом, к чему сводится преимущество крепостничества по словам его панегиристов. Как противоположность выставляют фабрику. Здесь между хозяином и работниками отношения совершенно другого рода. Нет ни любви, ни преданности, ни даже личного знакомства. Хозяин – это предприниматель и только, работник – рабочая сила, не больше. «Сердечная связь» заменена контрактом, все нравственное вытеснено юридическим. Петр и Иван обеспечены процессом производства, предприниматель одинаково обеспечен им. *Живой связи* между людьми нет.

Но эта-то *живая связь* и вдохновляет преимущественно С. Аксакова. Не подкапываясь под догмат помещичьей власти, не ставя даже его под сомнение, он на самом деле видит в барине отца, в крепостных – детей. Отец порою бывает строг, дети – шаловливы, но все это в порядке вещей, и из этого порядка совершенно логично вытекают всякого рода наказания. Какое ни на есть, перед нами все же единение, и нет мертвящего холода чисто. правовых, экономических отношений.

Поэтому «Семейная хроника» и может представиться положительным произведением, но только для человека известного класса, известного слоя общества, видящего идеал государственного и общественного устройства в патриархальности. Таким и был С.Аксаков. Тот же идеал, значительно расширенный и распространенный, целиком перешел к Константину Аксакову.

Для полноты характеристики Сергея Тимофеевича приведу несколько отрывков из воспоминаний лиц, близко знавших его:

«Аксаков отличался силою и крепостью телосложения, чему немало способствовали частые прогулки и занятие охотою. Но здоровье его начало страдать еще лет за двенадцать до кончины.

Болезнь глаз принудила его надолго запереться в темной комнате, и, неприученный к сидячей жизни, Аксаков расстроил отчасти свой организм, лишась притом одного глаза. Бодрость, впрочем, никогда не покидала его, даже в последние годы жизни, когда болезнь его развивалась более и более и заставила его почти постоянно сидеть в четырех стенах. Он был жив и впечатлителен по-прежнему, ясность духа его была невозмутима. Весною 1858 года болезнь Аксакова приняла весьма опасный характер и стала причинять ему жесточайшие страдания, но он переносил их с чрезвычайною энергией и терпением. Последнее лето провел он на даче близ Москвы и, несмотря на тяжелую болезнь, имел силу в редкие минуты облегчения насладиться природою и диктовать новые свои произведения, которые ничем не напоминают того, в какие тяжелые минуты они созданы. К ним принадлежит „Собрание бабочек“, опубликованное уже после его смерти в „Братчине“ – сборнике в пользу бедных казанских студентов, которыми он особенно интересовался. Осенью 1858 года Аксаков переехал в город и всю следующую зиму провел в ужасных страданиях. Ни помощь лучших врачей, ни заботы семьи не могли спасти его жизни, однако он продолжал еще иногда заниматься и писать статью „Зимнее утро“, „Встречу с мартинистами“, – последнее из напечатанных при жизни его сочинений, появившееся в „Русской беседе“ 1859 года, и повесть „Наташа“, которая напечатана в том же журнале. Весной не оставалось уже надежды, и он умер 30 апреля 1859 года».

Глава IV. Константин Сергеевич Аксаков

Внешний очерк жизни Константина Сергеевича очень несложен. Родился он 29 марта 1817 года в селе Аксакове Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. В Аксакове-Багрове, – тоже достаточно известном всем читателям «Семейной хроники», хотя бы только отрывков из нее в хрестоматиях, – К.С. прожил до 9 лет, находясь в постоянном общении с багровскими крестьянами, которые, благодаря благодатным климатическим условиям богатого в то время и неразграбленного еще Оренбургского края, во всех отношениях стояли выше забитого крестьянства средней полосы России. «И так как Константин Сергеевич отличался необыкновенно ранним умственным развитием, то нет сомнения в том, что именно идиллические условия, среди которых прошло детство будущего восторженного проповедника необходимости единения интеллигенции с народом, и обусловили в значительной степени оптимистический взгляд его на возможность этого единения. По крайней мере, сам он неоднократно ссылается впоследствии на живые впечатления, вынесенные им из личного общения с народом». Это общение продолжалось, однако, очень недолго, так как Аксаковы в 1826 году переселились в Москву, где Константин Сергеевич и прожил почти всю свою недолгую жизнь.

До 15 лет его воспитанием руководил отец, Сергей Тимофеевич, прививая сыну свое восторженное отношение к русским началам вообще, русской литературе в частности; 15-ти же лет Константин Сергеевич поступил студентом в Московский университет на словесное отделение. Он был, значит, сверстником и сотоварищем Белинского, Станкевича, Герцена. Он примкнул к кружку Станкевича и долгое время находился под обаянием этой светлой, исключительной личности.

Слишком известна жизнь московской университетской молодежи 30-х годов, чтобы мы стали долго останавливаться на ней. Отголоски ее горячих, страстных споров слышны еще и теперь. Существовало сплоченное товарищество, жажда познания, тесная дружба среди кружков. Русская мысль просыпалась, и в этом ее пробуждении больше всего повинна была немецкая идеалистическая философия и главнейше – философия Гегеля. Нисколько не преувеличенным являются следующие, например, слова современника:

«Станкевич был первый последователь Гегеля в кругу

московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие», и те от всякого приходившего с ними в столкновение «требовали безусловного принятия феноменологии и логики Гегеля и притом по их толкованию. Толковали же они о них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях (гегелевской) логики, в двух его эстетики, энциклопедии и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении „перехватывающего духа“, принимали за обиды мнения об „абсолютной личности и о ее по себе бытии“. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах, немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов, в несколько дней».

Ничего странного в преклонении перед Гегелем нет, как нет вообще ничего странного в преклонении чистой и искренней юности перед несомненным величием.

«Прежде всего необходимо указать на плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще и в особенности гегелева система от тех лицемерных и трусливых воззрений, какие господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: „истина, – говорили немецкие философы, – верховная цель мышления; ищите истины, потому что в истине благо; какова бы ни была истина – она лучше всего, что неистинно; первый долг мыслителя – не отступать ни перед какими результатами, он должен быть готов жертвовать истине самыми любимыми своими мнениями. Заблуждение – источник всяких пагуб, истина – верховное благо и источник всех других благ“. Чтобы оценить чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со времени Канта, но особенно энергично высказанного Гегелем, надобно вспомнить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе, как затем, чтобы оправдать дорогие для них убеждения, т. е. искали не истины, а поддержки своим предубеждениям. Каждый брал из истины только то, что ему нравилось, а всякую неприятную для него истину отвергал, без церемонии признаваясь, что приятное заблуждение кажется ему гораздо лучше беспристрастной правды. Эту манеру заботиться не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы, особенно Гегель, прозвали „субъективным

мышлением“, философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву. Как необходимое предохранительное средство против поползновений уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам был выставлен Гегелем знаменитый *диалектический метод мышления.* Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, *о котором он мыслит, качества и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд.* Таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствие борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. *Объяснить действительность стало существенной обязанностью философского мышления.* Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которой прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угоду собственным односторонним предубеждениям. Таким образом, добросовестное, неутомимое искание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий времени и места – и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникло данное явление, что эти общие отвлеченные изречения – неудовлетворительны. Каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует. Дождь, например, может быть благом, но может быть и злом, война может принести пользу, но может принести и вред и т. д. Это правило выражалось формулою: «отвлеченной, взятой вне обстоятельств времени и места, истины нет; истина – конкретна», т. е. определительное суждение можно произнести лишь об определенном факте, рассмотреть все обстоятельства, от которых он зависит.

«Свободой исследования, свободой мысли – вот чем пахнуло на университетскую молодежь из книг гегелевой философии, вот что увлекло ее до самозабвения, вот что сделало ее юношескую нетерпеливую работу не только плодотворной, но и исторической».

В ряду энтузиастов гегелианства одно из первых мест, по

силе приверженности к учению берлинского мудреца, занял Константин Аксаков, страстная натура которого не умела ничего делать наполовину. Но из любой системы, из любого учения каждый берет лишь то, что он может, что подходит к его природе, его настроению. Все равно как темперамент и обстоятельства жизни неумолимо вели Герцена в левый лагерь гегелианства и заставили его мысль об относительности истины применить без всяких уступок к вопросам религии, нравственности, политики и т. д., так темперамент и предания семейства сделали из Аксакова правого гегелианца, такого то есть, который искал и, разумеется, находил безусловные устои жизни. Для К. Аксакова этими безусловными устоями жизни были Россия, русский народ, православие. Тесная связь между ним и слишком свободомыслящим кружком Станкевича скоро должна была порваться.

«В кружке Станкевича (в середине 30-х годов), – вспоминает он сам, – выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир, – воззрение *большею частию отрицательное».*

«Одностороннее всего, – продолжает он, – были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многим не уравнявшийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет. Но, видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там».

Это отрицательное направление часто даже шокировало Аксакова, «русская душа» которого ярко определилась, по свидетельству Гильфердинга, еще тогда, когда ему было 9-10 лет. С болью сердечною вспоминает Константин Сергеевич о нападках членов кружка на многие частности тогдашних порядков.

Но всего ярче отрицательное направление кружка выразилось в вопросах чисто литературных. Вспомним, в самом деле, что к эпохе процветания кружка относятся «Литературные мечтания» Белинского, где с такою беспощадною «дерзостью», по выражению пришедших в ужас литературных староверов, было провозглашено, что собственно никакой-то у нас настоящей литературы и нет.

«Искусственность российского классического патриотизма, – продолжает Константин Сергеевич, – претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов,

неискренность печатного лиризма, – все это породило в членах кружка справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект».

Но когда это «справедливое желание» сопровождалось резкой критикой, подкапыванием под всякий авторитет, К. Аксаков чувствовал, что он уже не дома в кружке Станкевича.

«Пока оппозиционный характер был присущ кружку Станкевича лишь implicite,[8] пока одностороннее понимание формулы Гегеля (все существующее разумно) приводило к таким проявлениям, как статья Белинского о «Бородинской годовщине» – этому апофеозу официального патриотизма, – К. Аксаков мог идти рука об руку с будущими ожесточенными своими противниками. Но около 1846 года целый ряд обстоятельств приводит к тому, что скрытый оппозиционный характер кружка переходит в открытый. Умирает, во-первых, Станкевич, мягкая натура которого уравновешивала и сдерживала резкие выходки других членов кружка, а затем – наиболее близкий к Константину Сергеевичу Аксакову по кружку Станкевича человек – Белинский круто повернул в противоположную сторону от правого гегелианства и с такою стремительностью, с такой же неудержимой страстностью стал произносить «буйные» – по выражению Константина Аксакова – «хулы» против своих недавних кумиров. Белинский опомнился, увидел, куда ведет признание всего существующего разумным, в нем заговорил живой человек, несправедливо обездоленный – и сжег свои корабли. Не вытерпел этого Аксаков, все более и более начинавший сближаться после смерти Станкевича и отъезда Белинского в Петербург с Хомяковым, Киреевским, Самаринымиː он пошел направо, Белинский – налево…

«У каждого из них при этом сердце кровью обливалось. Нужно перечитать напечатанные в „Руси“ (1886 года) письма Белинского к Константину Аксакову за 1837 год, чтобы понять, какая горячая, истинно братская привязанность соединяла обоих идеалистов. Но именно потому, что оба они были идеалистами, именно потому, что искание правды не было для них высокопарною фразою, а насущною потребностью их высокого духовного существа, именно потому-то разрыв между ними и стал неизбежен, как только они стали розно понимать истину. «Я по натуре *жид»,* – писал Белинский по поводу своей ссоры с Аксаковым, подразумевая под этим словом человека с исключительными симпатиями, которому ненавистно все не свое, который не выносит ни малейшего компромисса с «филистимлянами». Но таким же жидом по натуре был и Константин Аксаков. Для него тоже не существовало истины

вообще, он тоже понимал только *свою* истину, – только ту истину, которая окрашена в любезный ему цвет, он тоже не понимал каких бы то ни было уступок, компромиссов, соглашений. И вот почему оба прежние друга играют одну и ту же роль в тех лагерях, к которым они примкнули после разрыва. С тою же необузданностью, с какою «неистовый Виссарион» выступает передовым бойцом западничества, Константин Аксаков выступает передовым застрельщиком славянофильства в его наиболее крайних проявлениях. Он первый надевает на себя «мурмолку», и первый же провозглашает, что надо вернуться домой в допетровскую Русь». «Возврат» – вот слово, ставшее его знаменем».

Определение «субъективного элемента» в области мышления, хотя бы и руководимого жаждой правды и истины, – является одной из главнейших задач историка литературы. Не разрешивши ее, он, можно сказать, не сделал и первого шага. Анализ биографических данных и обстоятельств времени должен быть увенчан возможно полным и основательным ответом на вопрос: почему человек думал так, а не иначе, почему он, нисколько не лицемеря, нисколько не кривя душой, необходимо приходил к таким-то и таким-то выводам. Процесс мышления однообразен, только, по-видимому, в действительности у каждого своя логика. Предания семьи, классовые симпатии, любовь и ненависть – вот то прокрустово ложе, на которое даже сильные умы укладывают свою мысль, свои аргументы, ad libitum,[9] укорачивая и удлиняя их по мере надобности. Белинский, например, мог увлекаться «эстетическим отношением к действительности», мог писать оды, вроде статьи о «Бородинской годовщине», но все это лишь до той поры, пока в нем не заговорила «кровь», не заговорил нищий, обездоленный человек. Как только это случилось – повязка сразу спала с его главы, и он круто повернул в сторону протеста. Одинаково идеал Аксакова – *патриархальность* – питался отнюдь не историческими изучениями, а условиями его жизни, настроениями его личного характера. Чтобы понять его теорию, надо понять его как человека.

«Константин Аксаков, – пишет Панаев в своих литературных воспоминаниях, – в житейском, практическом смысле оставался до сорока с лишком лет, то есть до самой смерти своей, совершенным ребенком. Он беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улита к родной раковине, не понимая возможности самостоятельной жизни, без подпоры семейства. Вне своих ученых и литературных занятий он не имел никакого общественного положения. Смерть отца и происшедшая от этого перемена в домашнем быту вдруг сломила его

несокрушимое здоровье. Он не мог пережить этой потери, и умер не только холостяком, даже девственником».

В сущности, до самой своей смерти он оставался «большим ребенком», случайно прикомандированным к общественной жизни, которой он не понимал и понять не мог, потому что он понимал и мог понимать лишь одну «детскую».

Окончивши университет, Константин Аксаков в 1838 году поехал за границу, но эта поездка по своей кратковременности прошла для него почти бесследно. Сохранился только рассказ о том, что во время пребывания в Берлине Константин Аксаков в первый и последний раз в жизни пытался сблизиться с женщиной.

«На перекрестке одной из берлинских улиц обратила на себя его внимание молоденькая продавщица цветов. Миловидное личико немочки показалось ему отражением столь же привлекательной души. И начал он каждый день приходить на перекресток и покупать по букету, отваживаясь при этом сказать продавщице несколько слов о посторонних предметах. Продавщица ласково ему отвечала и между ними установилась некоторая интимность. Ободренный этим, молодой Аксаков начал все дольше и дольше простаивать у прилавка продавщицы, начал приносить с собою Шиллера и читать из него наиболее возвышенные и трогающие душу места. Немочка внимательно слушала чтение и все более и более задумывалась во время его. Восхищенный Аксаков с восторгом наблюдал это впечатление высокой поэзии великого поэта. Но вот, в одно из посещений цветочной лавочки, продавщица ему прямо заявляет, что Шиллер Шиллером, а что он ей отбивает покупателей, что об его продолжительных посещениях много говорят соседи, и что если он хочет продолжать знакомство, то ей было бы желательно получать от него что-нибудь посущественнее стихов, за что, в свою очередь, она, не требуя от него наложения на себя брачных уз, готова всецело отдаться в его распоряжение. В ужасе слушал эти речи упавший с неба прямо в лужу идеалист и в ужасе бежал из цветочной лавочки, и когда впоследствии приятели, узнавши от него в минуту откровенности всю историю, пробовали дразнить его ею, лицо Аксакова перекашивалось от внутреннего страдания».

Подобная наивность очень характерна. Она-то и является основным душевным качеством знаменитого славянофила, – качеством, ни на минуту не покидавшим его даже при ученых и литературных трудах. Что могло быть наивнее, как в середине XIX века одеваться в безобразный допетровский костюм, возводить в принцип косоворотку и мурмолку, или предполагать, что белокурая немочка, дочь своего века, будет всю свою жизнь

слушать Шиллера, восторгаясь Шиллером, останется навсегда духовной невестой Шиллера?… Константин Аксаков, однако, не находил тут ничего странного.

Он хотел слиться с народом не только духовно, но даже и наружно, и хотел поэтому изменить свой внешний облик. «Для этого он надел на голову мурмолку, нарядился в рубашку с косым воротом и отпустил бороду». Это было смешно, на улице за ним бегали зеваки и называли персиянином; он жаловался на порчу нравов и винил в ней Европу. «Назад», «домой», любовно «вперивши свой взор на Восток» – вот его символ веры, воплощением которого служили мурмолка и косоворотка. Характерно, чем вдохновлялась в это время его муза.

Он писал в 1843 году:

Прошли года тяжелые разлуки,
Отсутствия исполнен долгий срок,
Прельщения, сомнения и муки
Испытаны, – и взят благой урок!
Оторваны могущею рукою,
Мы бросили отечество свое.
Умчались вдаль, пленясь чужой землею,
Земли родной презревши бытие.
Преступно мы об ней позабывали,
И голос к нам ее не доходил;
Лишь иногда мы смутно тосковали:
Нас жизни ход насильственный давил!
Предателей, изменников немало
Меж нами, в долгом странствии, нашлось:
В чужой земле ничто их не смущало,
Сухой душе там весело жилось!
Слетел туман! пред нашими очами
Явилась Русь!.. Родной ее призыв
Звучит опять, и нашими сердцами
Вновь овладел живительный порыв.
Конец, конец томительной разлуке!
Отсутствию настал желанный срок.
Знакомые теснятся в душу звуки
И взор вперен с любовью на Восток.
Пора домой! И песни повторяя
Старинные, мы весело идем.
Пора домой! Нас ждет земля родная,
Великая в страдании немом!
Презрением отягчена жестоким,
Народного столица торжества,

Опять полна значением глубоким
Является великая Москва.
Постыдное, бесчестное презренье
Скорее в прах! Свободно сердце вновь,
И грудь полна тревоги и смятенья,
И душу всю наполнила любовь!
Друзья, друзья! Теснее в круг сомкнемся,
Покорные движенью своему,
И радостно, и крепко обоймемся,
Любя одно, стремяся к одному!
Земле родной все, что нам Небо дало,
Мы посвятим! Пускай заблещет меч,
И за нее, как в старину бывало,
Мы радостно готовы стать и лечь.
Друзья, друзья! Грядущее обильно,
Надежды сладкой веруйте словам,
И жизнь сама, нас движущая сильно,
Порукою за будущее нам!..
Смотрите – мрак уж робко убегает,
Восток горит, день недалек, светает.
И скоро солнце красное взойдет!

Но, разумеется, эта поразительная наивность большого, лучше сказать, «вечного ребенка» нисколько не мешала тому, чтобы личность Константина Аксакова представлялась в высокой степени привлекательной для каждого из близких, знавших его. Младенческая чистота души, целомудрие в широком смысле этого слова – вот что находим мы во всех его характеристиках. Нам необходимо познакомиться с ними прежде, чем приступить к разбору теории и взглядов Константина Аксакова.

«Какое множество, быть может, умных людей, – начинает г-н Бицин свои воспоминания, – с высоты своего практического разумения, считали Константина Сергеевича ребенком и даже дитей. Как они должны были забавляться его простодушной верой в людей и совершенным неведением тех так называемых практических истин, что известны даже весьма дюжинным умникам наизусть. Но как вся эта масса светских мудрецов пасовала пред ним, перед этим „младенцем на злое“, именно ради его неумолимого и неподкупного нравственного чувства. Никакой сделки с совестью, никакого компромисса или способа уживчивости, никакого modus vivendi[10] кривды с правдой он не допускал. «Я ему руки не подаю», – сказал мне один раз Константин Сергеевич про человека, весьма известного тогда в

московском свете. Признаться, меня это удивило именно потому, что личность, о которой шла речь, пользовалась всеобщим внешним почетом; трудно бы было и избежать встреч в обществе именно с этим, бывшим тогда в славе, общественным деятелем. «Я не знаю ничего безнравственнее светской нравственности», – продолжал, как бы в пояснение моей мысли, Константин Сергеевич. – «Случалось ли вам слышать такое общепринятое про человека выражение (именно только в свете оно могло родиться): это разбойник, это безнравственный человек, mais c'est un homme tout a fait comme il faut,[11] руку ему можно подать?»

Подавать руку «разбойнику», хотя бы тот и слыл за человека совершенно приличного, Константин Аксаков не был способен. Он не шел никогда ни на малейшие уступки светским приличиям и свою правдивость доводил до ригоризма, не делая никакого различия между важной и пустой ложью.

«Один раз, – рассказывает г-н Бицин, – пришлось мне просить Константина Сергеевича уделить несколько часов времени для выслушания одной рукописи, а к ней он относился и сам с живым участием. Он назначил мне быть на другой же день. Чтение началось с раннего утра и продолжалось часу до четвертого. Перед самым началом Константин Сергеевич оговорил в доме, что он будет занят и желающих видеть собственно его не принимать никого. Скоро раздался звонок, человек вошел в комнату и назвал фамилию приехавшего. „Сказать, что я занят и принять не могу“, – отвечал Константин Сергеевич. В самом непродолжительном времени последовал другой звонок, потом третий. Человек по-прежнему входил с докладом. „Занят и принять не могу“, – по-прежнему отвечал Константин Сергеевич. Не помню, после которого звонка и доклада я, наконец, не выдержал и спросил: почему бы не сказать в таких случаях общепринятого „дома нет“? «Очень жаль, что это общепринято, – с живостью возразил Константин Сергеевич, – но ни в малых, ни в больших делах лгать не вижу надобности. Неужели не проще сказать: *не могу принять,* чем *нет дома?* Тем более, что если бы кому-нибудь встретилась теперь действительная необходимость меня видеть, мне было бы даже совестно лишить этой возможности, да еще и солгать перед ним. Но, вот вы сами видите, нас никто и не беспокоит. Мне кажется даже, что, привыкнув к моему обычаю, то есть к тому, что я не отказываю фразой *дома нет,* сами посетители тяготятся теперь настаивать на непременном свидании, а это бывает при лживом ответе *нет дома».* Было и еще несколько звонков. После одного из них человек доложил фамилию одного из профессоров Московского университета, оговорив, что просят непременно принять хоть

минуты на две. Константин Сергеевич, извиняясь за перерыв чтения, вышел к тому посетителю и даже менее, чем через две минуты, возвратился назад. «Вот видите ли, – сказал он сияющий, – мы и опять свободны продолжать чтение; такой маленький перерыв почти не помешал нам. А я рад, что не отказал в. приеме: профессор хлопочет об одном бедном студенте; дело идет об его определении, а оно и вовсе не состоялось бы, если бы я не дал себя видеть; теперь же дело кончено, и молодой человек устроен. И, поверьте мне, люди чутки к правде более, чем обыкновенно думают. Откажи я ему под предлогом, что меня дома нет и потом выйди к нему по усиленной просьбе, он продержал бы меня гораздо долее, чем теперь, когда ему сразу сказали, что я дома, но занят».

Быть может, все это и мелочи, но мелочи очень характерные, почему мы позволим себе еще задержать внимание читателей на искренних воспоминаниях Бицина.

«Мне припоминается, – сообщает он, – рассказ очевидца о диспуте Константина Сергеевича при его магистерской диссертации (Ломоносов). Это рассказ Ф.М. Д-ва, который в шестидесятых годах и сам занимал кафедру в Московском университете, а тогда лишь готовился к тому и был накануне своей собственной магистерской диссертации. На все возражения, – рассказывал этот очевидец, – Константин Сергеевич отвечал живо и ничего не уступал из собственных тезисов. Но после одного сделанного ему замечания магистрант вдруг воскликнул: „ах, какое дельное возражение!“, и это с такой детской искренностью и с таким невольным движением руки, поднесенной к волосам, что вся аудитория разразилась смехом. Ясно было, что не личное самолюбие, а самый предмет спора занимал диспутанта…

«Гоголь в одном из своих писем, теперь уже напечатанном в полном издании его сочинений, допустил такое выражение о Константине Сергеевиче: этот человек болен избытком сил физических и нравственных, те и другие в нем накоплялись, не имея проходов извергаться. И в физическом, и в нравственном отношении он остался девственник. Как в физическом, если человек, достигнув до тридцати лет не женился, то делается болен, так и в нравственном для него даже было бы лучше, если бы он в молодости своей… (многоточие в печатном подлиннике). Но воздержание во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу. Он должен неминуемо сделаться фанатиком».

«Как нельзя сознательней и свободней относился Константин Сергеевич даже к своему девственному состоянию, о чем говорится в этом печатном письме Гоголя. Были другие

комментаторы этого состояния Константина Сергеевича; они прямо считали его каким-то платоническим идеалистом; сама уже природа у него такая, это его физиологическая черта, не больше. На этот счет и те, и другие не правы. Это не было фанатизмом с его стороны ни в основе, ни в последствиях, как могли бы заключить иные из письма Гоголя; это не было и отсутствием подвига, как легкомысленно объясняли другие. Я посмел ему прямо это высказать как-то раз во время нашей беседы».

«Говорят, – сказал я, – что в самом организме человека заключаются иногда условия для девственного состояния его; иной человек таков уже от природы, в том нет и заслуги с его стороны. Что вы скажете об этом относительно вас самих?» – «Зачем так думать?» – возразил он с живостью. – «Даром человеку ничего не дается, достижение сего составляет нравственный подвиг. Это подвиг воли, и очень тяжелый». И столько же скромно, сколько гордо, он прибавил: «я скажу по крайней мере о себе: нет, мне это даром не далось». Последнее было им выговорено с большим усилием».

Как и можно было ожидать, Константина Сергеевича сразила смерть его отца. Он захирел сейчас же после нее и уже не мог поправиться. «Большой ребенок», оставшись один, не мог не погибнуть. 30 апреля 1859 года умер Сергей Тимофеевич. «Я, – рассказывает Бицин, зашедши в редакцию „Русской беседы“, – услыхал мало утешительного: Константин Сергеевич был безнадежен; не только свои, и чужие боялись за него. Его укоряли, что он не бережет себя, еще прямо и в том, что он как бы намеренно убивает себя. К этому прибавляли, что он страшно изменился. Хорошо предупрежденный на этот счет, я готовился быть особенно осторожным при встрече с ним. Перебежав только улицу, уж я был на Кисловке, а сделав еще шагов тридцать к знакомому дому, уж видел палисадник за перилами, большие ворота, и из ворот, в противоположную от меня сторону, медленными шагами удалявшуюся фигуру. Я нагнал вслед; медленно отходивший от меня обернулся. Можно ли было узнать прежнего, бодрого душевно и телесно Константина Сергеевича. Мало сказать: он страшно изменился в лице, нет! а от общей исхудалости… и было еще что-то удлиненное и утонченное во всей фигуре. Пепельность бороды и усов, вдруг взявшаяся проседь, вместо прежнего их цвета; с ног до головы чрезвычайная угрюмость во всем виде; неподвижный, какой-то внутрь самого себя обращенный, самоуглубленный взор и тихость, жуткая тихость – поразили меня. – Я иду в церковь, – сказал он, – как служба отойдет – вернусь. Вы меня застанете дома, я жду вас.

– Но, Константин Сергеевич, поберегите себя, – вырвалось у меня совершенно невольно.

Тут же, стоя на улице, он отвечал очень серьезно, но тихим и задумчивым голосом, а не как бывало: «Да, меня упрекают. На меня даже взводят обвинение, что я не удерживаюсь от горя, даю ему волю и намеренно расстраиваю себя. Не верьте этому. А я просто не могу».

«Кто рассчитывал на время, – говорит в другом месте г-н Бицин, – надеясь еще, что само время излечит, тот ошибся вдвойне. „Время тут ничему не поможет, поверьте“, – говорил он мне еще тогда в Москве, и Аксаков был прав. В горести, давившей все его существо, не было ничего аффектированного с самого начала; ничего такого, что было бы связано, как там он говорил, с нервным расстройством, а лишь в таких случаях и помогает время. Это была, напротив того, скорбь, усиливавшаяся с каждым днем, потому что каждый новый день приносил и большее разуверение в возможности будущего и настоящего без прошлого».

Тоска одолевала Константина Сергеевича и заполонила его наконец. Грустью и полной безнадежностью дышит от следующих строк одного из последних предсмертных его писем:

«Вы приглашаете меня к вам в деревню, брат показал мне письмо ваше, приглашение ваше так искренно, в нем сказалось такое дружеское движение, что мне захотелось непременно написать вам и вот я пишу. Я всегда очень много ценил в жизни привет и всегда с такою радостью на него отзывался, но привет вовсе не так часто встречается в жизни, как, может быть, думают. В ваших словах мне послышался именно этот привет, который так редок. Если б это приглашение ваше сделано было бы при батюшке, тогда я не проездом к Хомякову, а нарочно бы к вам поехал. Но теперь, любезнейший… все кончилось. Ни удовольствие, ни радость жизни для меня существовать не могут. Одним словом, жизнь кончилась, – жизнь, как моя. Я здесь еще, под условиями этой жизни, но это не *моя* жизнь. Все доброе, все хорошее в других – я чувствую, отзываюсь на то, как и на ваше приглашение, и только. Если б вы предлагали мне какое-нибудь удовольствие, мне было бы приятно видеть ваше желание, а от самого удовольствия я бы отказался, потому что его нет для меня. Так и теперь вы все сделали, пригласив меня, и дали мне все, что я могу теперь принять. Прежде для меня было бы истинным удовольствием повидаться с вами у вас… взглянуть на юную семью в обстановке природы со всей ее недостижимой красотою, которую батюшка передает в своих сочинениях так неподражаемо. Но этого прекрасного удовольствия для меня

теперь быть не может. Это все кончилось. Вы знали Константина Сергеевича, который удит, курит, с восхищением радуется жизни и природе в каждом ее проявлении, будь это зима или лето, будь это палящее солнце или дождь, промачивающий насквозь, – Константина Сергеевича, который любит слышать в себе силы именно тогда, когда неудобство, стужа или что-нибудь подобное их вызывает; который в восхищении и крепнет на телеге, прыгающей по камням, или под дождем, его всего обливающем, – Константина Сергеевича, который 28 верст проходит, не присаживаясь, выпивает сливок, потом квасу и отправляется еще, взвалив на себя огромные удилища, – удить. Теперешний Константин Сергеевич не удит, не курит, смотрит и не видит природы или болезненно ее чувствует и даже отворачивается от нее; неженкой он не сделается, слабым тоже, но не слышит в себе этого приятного ощущения сил, не ищет чего-нибудь понеудобнее и потяжелее; ему все равно, карета ли или любимая телега, в которой он прежде даже и стихи писал. Да, все для меня кончилось, жизнь моя кончилась; жизнь была хороша и исполнена прекрасных радостей, и вот я помянул себя в письме к вам. Благодарю же вас… за все радушие, какое я видел бы у вас. Обнимаю вас крепко… Я занимаюсь довольно; это я считаю своим долгом, который я должен выполнить. Постараюсь сделать все, что могу, на что имею способности, и таким образом расплатиться с долгами. Я точно собираюсь переехать и укладываюсь. Прощайте… Ваш Константин Аксаков». Был и post-scriptum: «время действует на меня совершенно наоборот против того, как полагают».

Письмо это относится к августу 1859 года.

Всю зиму К.С. чахнул; весной и летом заболел так, что его отправили за границу; в том же 1860 году он и скончался, 7 декабря, вдали от родины, в Греческом архипелаге, на острове Занте. За границей первоклассные знаменитости, иноземные врачи дивились чахотке и сухотке этого богатыря, умирающего с тоски по своему отцу; собственно, вся и болезнь была в этом. Доктора не давали лекарств, не прописывали рецептов, советовали только развлекать его. Тогда Италия шумела именем Гарибальди; в ней пробуждалось народное движение, не советовали пускать туда, а указывали на какие-нибудь «увеселительные» воды или даже на Париж, советуя возить на разные гулянья, а если в театр, то исключительно в водевили, но жить таким образом для Константина Сергеевича значило – не жить. Он уже умирал; последние оставшиеся средства, хоть для продления последних дней, медики свели на «теплый морской климат», и вот он попал на остров Занте. Когда пароход вез его к

этому последнему пристанищу, он с болезненной грустью глядел на волны и говорил своему неизменному спутнику, сопровождавшему его брату, Ивану Сергеевичу Аксакову: «неужели, однако уж, и кончено? Как ни ожидал я, но чтобы так уж скоро, кто бы думал?»

На пустынном острове не было русского православного священника для исповеди больного; нашелся грек, едва говоривший по-русски. У этого-то грека и исповедался умирающий на своем любимом языке.

Глава V. Славянофильская доктрина

Теперь читатель знает, с кем имеет дело. Очевидно, Аксаков не покривит душой, не утаит ничего, что у него на сердце, и будет говорить с искренностью верующего на исповеди. Тем легче и интереснее ознакомиться с его учением. Выросшее на почве любви и ненависти, оно старалось, однако, опереться на исторические данные и явиться в свет в наукообразной форме. С большим усердием и несомненным знанием дела К. Аксаков привлекал историю на свою сторону, постоянно доказывая следующие основные свои положения.

1) Народ не нуждается ни в каких указаниях, в особенности со стороны наших, нахватавшихся верхов европейской цивилизации «культурных» людей.

2) У народа есть свое стройное и устойчивое миросозерцание, не только вполне пригодное для ежедневной, серой крестьянской жизни, но способное выдержать натиск миросозерцания людей, бесконечно превосходящих мужика образованием и социальным положением.

3) В частности, у народа есть своя самобытная нравственность и своя, если и не самобытная, то все-таки окрашенная самостоятельным пониманием религиозность, на совокупности которых и строятся социальные отношения крестьянской общины.

4) Народная нравственность основана на чувстве справедливости. Это чувство народ никогда не понимает в формальном математическом смысле. Вот почему, строго блюдя интересы всей общины, он все-таки смотрит за тем, чтобы не только интересы меньшинства, но даже интересы отдельных личностей не страдали бы от соблюдения мирских выгод.

5) Религиозность народа, как и нравственность его, не внешняя и не показная. Она есть удовлетворение внутреннего призыва к добру.

6) Источник нравственности и религиозности народа кроется в исповедуемой им православной вере. Когда староста Антон, пункт за пунктом, разрушил всю «сивилизационную» программу своего барина, между «сбитым совершенно с толку» Луповицким и его собеседником произошел такой разговор:[12]

«*Луп.* Антон, ты где учился?
Стар. Нигде, батюшка.
Луп. Грамоте умеешь?
Стар. Умею, батюшка.

Луп. Что ты читал?
Стар. Церковные книги, батюшка».

7) Совокупность всего вышесказанного создала глубоко своеобразный правовой, экономический и нравственный институт, – крестьянский «мир», который есть хранитель истинно народных традиций и панацея против тех зол, которые при ином строе повели бы к целому ряду социальных и индивидуальных несправедливостей.

В сущности говоря, все эти семь членов аксаковского символа веры являются и косвенным укором западноевропейской жизни. Нечего даже и говорить, чем больше всего дорожит Константин Аксаков. Он, очевидно, дорожит *живою нравственною связью* между людьми, которая поддерживается общинными укладами. При них нет формальной справедливости, защищающей лишь интересы большинства, при них есть полная свобода для проявления внутренних позывов к добру, есть место для непрестанно действующей религиозности.

Что лучше? В сущности, противники Константина Аксакова могли только сказать ему: «вы нарисовали прекрасную картину своеобразного правового, экономического института. Мы не думаем оспаривать его достоинств. Признаем вместе с вами, что крестьянский мир действительно держится на религиозно-нравственных устоях, что справедливость жизни осуществляется в его обстановке лучше, чем где-нибудь в другом месте. Только *покажите* нам его, сделайте для нас очевидным, что он действительно так хорош, как вы говорите, и мы – ваши».

Как бы предчувствуя эту оговорку, Константин Аксаков в той же пьесе пошел ей навстречу, и в этом-то случае особенно ясно и резко проявилась «субъективная» сторона его мышления.

Есть в этой пьесе кое-что, что не сразу бросается в глаза и требует кое-каких разъяснений, – разъяснений, тем более необходимых, что дело идет об основной черте мировоззрения Константина Аксакова. Крестьянский быт он характеризует исключительно в мажорном, как выражается С. Венгеров, тоне. Краски получаются суздальские – все больше красное с золотом, – но в высшей степени характерные как для самого Аксакова, так и для всей славянофильской школы вообще. И является этот мажорный тон у Константина Аксакова потому, что происхождение его народолюбия не то, что у народолюбцев противоположного западнического лагеря.

Если мы в самом деле присмотримся к истории западнического народолюбия, нам нетрудно будет убедиться, что источник его кроется в *жалости* нравственно чутких

представителей русского культурного класса к бедственному положению мужика и в чувстве раскаяния, которое они испытывали при мысли о своей причастности греху векового угнетения крепостного раба.

«Когда в начале сороковых годов шедшие к нам из Франции „филантропические“, по терминологии того времени, идеи привели к необыкновенно яркому пробуждению *общественных* чувств и когда те же самые «люди сороковых годов», которые всего несколько лет тому назад, в тридцатых годах, только и думали, что об «абсолютах», о «святыне искусства», о «вечной красоте», и тому подобных метафизических тонкостях, теперь до мозга костей прониклись «политикой», вопрос о народе не мог не стать одним из центральных вопросов времени. Поколение, вся духовная жизнь которого сосредоточилась на размышлениях о том, справедлив или несправедлив существующий общественный строй, прежде всего стало болеть душою за «униженных и оскорбленных» вообще и за русского крепостного мужика в частности. Глашатай этого поколения – «неистовый Виссарион» с тою же восторженною энергией, с которою он некогда требовал от писателей служения чистому искусству, начал требовать от них определенной общественной тенденции, подразумевая под нею, по преимуществу, все ту же защиту «униженных и оскорбленных» вообще и мужика в частности. И чутко внимавшие пламенному искателю истины молодые таланты того времени поддались неотразимому влиянию горячей убежденности Белинского и, точно сговорившись, почти в один и тот же год предстали пред изумленною публикой с рядом превосходных произведений, в основе которых лежали самые широкие симпатии к загнанному простолюдину. Явился Григорович с «Деревней» и «Антоном Горемыкой», в которых впервые был показан человек в крепостном мужике, явился Тургенев с «Записками охотника», в которых то же желание очеловечить мужика было проведено с еще большею теплотою, явились первые стихотворения на народные темы Некрасова, бросившего под новым влиянием прежние «мечты и звуки» и посвятившего отныне свою музу народным *страданиям* и психологии народной души».

Для западников, словом, мужик являлся несправедливо угнетенным, несправедливо преследуемым человеком. Его не столько любили, сколько жалели, иногда даже мучительно жалели, как загнанного раба.

Из диаметрально противоположного источника вытекло народолюбие Аксакова. Мужик был дорог ему, главным образом как хранитель истинно русских преданий. Не потому он любил мужика, что мужик – наш меньшой брат, имеющий в силу своего

человеческого достоинства равное с нами право на участие в жизненном пиршестве, а потому, что он видел в мужике «живой обломок дорогого ему древнерусского быта». И вот почему, совершенно закрывая глаза на реальную действительность и на те печальные условия, среди которых протекала жизнь крепостного мужика, К. Аксаков, нисколько не кривя душой, а просто опираясь на впечатления детства, изображал эту жизнь в самом розовом свете – больше даже, как жизнь поистине богатырскую, полную красоты, мощи, поэзии. Так, например, в «Князе Луповицком» все крестьяне очень зажиточны и в порыве *великодушия* дают 800 рублей, из которых сто приходится на долю старосты, представляющего из себя опять-таки не какого-нибудь вора-бурмистра, а высокочестного человека, нажившегося исключительно «добродетелью», т. е. из источника доходов, совершенно в наши дни дискредитированного. Дальше, когда еще неузнанный своими крестьянами Луповицкий стороною спрашивает одну из попавшихся баб, как живется мужикам его деревни, она прямо говорит ему: «нам грех Бога гневить, нам хорошо».

Заподозрить К. Аксакова в неискренности и в преднамеренном разукрашивании – совершенно невозможно. Мужицкой жизни он, в сущности, не знал и не видел, по характеру же своему он был склонен рассматривать все через розовые очки. «Все дело тут в том, что, упрекая других в кабинетности и незнании народа, К. Аксаков, как улитка проживший всю свою жизнь в раковине отцовского дома, сам более других был в этом повинен и считал „знанием“ народа изучение былин Владимирова цикла и летописей». Поневоле ему все мерещились Ильи Муромцы да Микулы Селяниновичи. Живые же люди, с которыми ему пришлось водить дружбу после разрыва с кружком Станкевича и Белинского, – все эти Хомяковы, Аксаковы, Киреевские, наконец, собственный отец его – были люди очень богатые и добрые, не имевшие решительно никакой надобности и никакого расположения сколько-нибудь дурно обращаться со своими крестьянами. «Если мы вспомним, – говорит С. А. Веселеров, – с каким добродушием относился Сергей Тимофеевич к крепостному праву, то нам станет вполне понятным, что и в сыне его, раз он жизни не знал, только теоретические импульсы могли создать иное, более озлобленное отношение. Но именно теоретические-то импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Те импульсы, которые вдохновляли бывших друзей Константина Сергеевича на возможно резкий протест против темных сторон крепостного права, для него были несимпатичны уже в источнике своем, потому что помимо того,

что они шли с Запада, они говорили о вражде и фрондерстве, столь нелюбимых им. Общее же его миросозерцание и склад восточно-русской натуры гнули в сторону усматривания положительных сторон. Конечно, это не умаляло степени нелюбви Константина Сергеевича к крепостному праву, в ненависти к коему он едва ли уступал кому бы то ни было. Но со стороны, т. е. для читателя, получалось очень странное впечатление, получался тот совершенно неуместный мажорный тон, то идиллическое изображение крепостного быта, по поводу коего каждый крепостник мог сказать: „зачем отменять крепостное право, когда при нем так хорошо живется народу?“

Живую нравственную связь между людьми К. Аксаков нашел в крестьянском мире. Но этот мир был ничем иным, как обломком древнерусского строя, к выяснению и восхвалению которого направлялись все усилия К. Аксакова как историка. Нечего и говорить, что субъективные элементы его мышления находили и здесь обширное для себя поприще – ничуть не меньше, чем в исторической комедии «Князь Луповицкий». В сущности, Аксаков – эта резко выраженная, чуткая индивидуальность – не знал себе никогда удержу. Он не мог сообщить факта, тем менее истолковать его, не придавши ему окраски собственной личности. «Верю, потому что люблю, и хочу верить, отрицаю – потому что ненавижу и не хочу верить» – вот до чего доходил его субъективизм. Вообще, мне думается, что защитникам субъективного мышления в социологии или где там было бы небесполезно перечитать сочинения К. Аксакова. Перед ним – они робкие дети, слепцы, поющие Лазаря и неуверенно ступающие за поводырем. «Учитель» не боялся. Он известен, например, как автор многих прекрасных филологических работ, и несомненно, что они были бы образцовыми, если бы не этот, излюбленный некоторыми нашими профессорами, «субъективизм мышления». Образчики его преинтересны.

Начать с того, что в самые мелочные, чисто специальные вопросы он вносил весь запас своего обычного страстного отношения. Как уже заметил П.А. Безсонов, Константин Аксаков «особенно *любил* звук *ъ,* играющий столь видную роль у нас и столь много способствующий разысканию филологическому; в ту же меру он *возненавидел* противника – звук *съ,* той ненавистью, которую может питать добрейшее сердце к чему-либо гнусному (!). Он расточал этому врагу прозвища «надоедного», «назойливого», «вторгавшегося пролазы», «услужливого», «рабского»; он перенес сюда смысл приторной угодливости, чуждый собственному его лицу и проникший к нам в виде поддакивания, как рабское «да-с», «нет-с»: по тому, как сам

говорил обыкновенно с твердостью «да» или «нет», так, наверное, можно было считать признаком, что Аксаков недоволен или гневен, когда он употреблял «да-с», «нет-с».

П.А. Безсонов констатирует приведенные факты с чувством умиления, видя в них доказательство того, что Константин Сергеевич держал свое знамя «грозно и честно», поражая им в самое сердце ненавистное «съ»… Зато филологические теории распускались пышно и разноцветно.

Главная теория заключалась во вредоносном влиянии на русскую грамматику иностранных веяний. Эти воззрения принадлежали не только иностранцам по паспорту, но и иностранцам в сердце своем, хотя бы и чистокровно русским.

«Вместе с нашествием иноземного влияния на всю Россию, на весь ее быт, на все начала, и язык наш подвергся тому же; его подвели под формы и правила иностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и как всю жизнь России, вздумали и его коверкать и объяснять на чужой лад. И для языка должно настать время освободиться от этого стесняющего ига иностранного. Мы должны теперь обратиться к самому языку, исследовать, сознать его и из его духа и жизни вывести начала и разум его, его грамматику. Она не будет противоречить грамматике общечеловеческой, но *только* и *строго* общей, а совсем не общечеловеческой – выразившейся известным образом у других народов и только представляющей свое самобытное проявление этого общего… В ней, в русской грамматике, может быть, полнее и глубже явится оно, нежели где-нибудь. Кто из нас станет отвергать общее человеческое? Русский на него сам имеет прямое право, а не чрез посредство какого-нибудь народа; оно самобытно и самостоятельно принадлежит ему, как и другим, и кто знает? может быть, ему *более* нежели другим, и может быть, мир не видал еще того общего человеческого, какое явит великая славянская, именно русская природа… Да возникнет же вполне вся русская самобытность и национальность! Где же национальность шире русской? Да освободится же и язык наш от наложенного на него ига иноземной грамматики, да явится он во всей собственной жизни и свободе своей» (т. II, стр. 405, 406).

Словом, «нам непременно нужно внести свои русские воззрения в русское языкознание, и это тем более необходимо, что русские грамматические формы гораздо совершеннее». «Я, – говорит К. С. Аксаков, – нисколько не завидую другим языкам и не стану натягивать их поверхностных форм на русский глагол».

Выражаясь метафорически, можно сказать, что иностранные воззрения заставили щеголять русский глагол в немецких брюках и пиджаке, тогда как ему следовало бы исключительно держаться

мурмолки и полукафтана.

Сущность исторических трудов К. Аксакова сводится, по словам его биографа, к четырем основным положениям: 1) что уклад первоначальной русской жизни был не родовой, а общинно-вечевой, 2) что русский народ резко отделял понятие земли от понятия о государстве, 3) что древнерусская допетровская Россия представляет собою картину высокоидеальных общественных отношений и 4) что русский народ есть носитель специально ему присущих высоких доблестей, которые отводят ему особое, высокое место во всемирной истории.

Указание на могущественную роль общинно-вечевого начала в старорусской жизни является, несомненно, главной и прекрасной исторической заслугой К. Аксакова. Ведь Шлецер, Карамзин и их последователи совершенно игнорировали «народ», занимаясь исключительно «государством». Чутье подсказало К. Аксакову, куда должно быть направлено внимание новых исследователей. Но мы только отметим заслугу Аксакова; останавливаться же на ней, как прямо не относящейся к делу, мы не можем. Переходим поэтому ко 2-му пункту учения, особенно основательно изложенному в знаменитой «Записке», поданной К. Аксаковым Александру II в 1859 году.

«Русский народ, – говорит здесь К. Аксаков, – есть народ не государственный, т. е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия. Русский народ, не имеющий в себе политического элемента, отделил государство от себя и государствовать не хочет. Не желая государствовать, народ предоставляет правительству неограниченную власть государственную. Взамен того русский народ предоставляет себе нравственную свободу, свободу жизни и духа».

Этот второй пункт славянофильской доктрины – самый существенный. Устанавливая его, Аксаков хотел провести резкую непереступаемую границу между русской историей и историей западноевропейской. Он хотел дальше показать, что за этой границей живут совсем особенные люди, принципиально противоположные остальным представителям рода человеческого. Со спокойной гордостью принял К. Аксаков знаменитый тезис Гегеля, что на земле обитают «die Menschen und die Russen», т. е. люди и русские, и придал ей то толкование, что русские – это Uebermensch и, т. е. сверхчеловеки или «всечеловеки», как выражался покойный Достоевский. Почему же? А потому, что они не хотят и не ищут, не хотели и не искали, не должны хотеть и не должны искать ни права, ни власти, а лишь любви и правды.

Так ли оно в действительности? Один публицист, подвергнув резкой критике этот пункт славянофильства, пришел к интересным выводам, с сущностью которых мы сейчас же и ознакомимся.

Два важных события русской истории – призвание варягов и избрание в цари Михаила Федоровича Романова – напрасно приводятся Аксаковым в подтверждение его мысли. Сознание необходимости государственного строя и невозможности учредить его собственными средствами, вследствие постоянных междоусобиц, заставило новгородских славян с окрестными чудскими племенами призвать из-за моря объединяющий правительственный элемент. Это призвание чужой власти показало действительную нравственную силу русского народа, его способность освобождаться в решительные минуты от низких чувств национального самолюбия или народной гордости; но видеть отречение от государственности в этом решении создать государство во что бы то ни стало – нельзя. В те отдаленные времена никаких абсолютных государственных форм Европа (кроме Византии) не знала, история непреложно свидетельствует, что русский народ с призванием варягов нисколько не отказался от деятельного участия в государственной жизни. Второе событие, на которое ссылается Аксаков, – избрание на царство Михаила Федоровича как законного преемника прежней династии, столь же мало годится для подтверждения славянофильского взгляда. Незадолго до нашего смутного времени в самой передовой стране западной Европы произошли аналогичные события; когда среди междоусобий и смут погиб последний король из дома Валуа, французский народ не учредил ни республики, ни постоянного представительного правления, а передал полноту власти Генриху Бурбону, при внуке которого государственный абсолютизм достиг крайней степени своего развития. Неужели, однако, из этого можно выводить, что французы – народ негосударственный, чуждающийся политической жизни и желающий только «свободы духа».

Если рассуждать как Аксаков, то тот же антиполитический характер следует признать и за испанским народом, который после революционных смут конца прошлого и начала нынешнего века, как только избавился от нашествия иноземцев (подобно русским в 1612 году), призвал к себе законного государя и предоставил ему неограниченную монархическую власть. То же и в другом случае.

Вообще, для характеристики русского народа в государственном отношении нет причины ограничиваться московской и петербургской эпохами. Если же мы обратимся к

киевской Руси, то тут тезис Аксакова оказывается уже вполне несостоятельным. По справедливому замечанию одного беспристрастного критика, этот тезис всего лучше опровергается собственными сочинениями Константина Аксакова, в которых показывается положительное и решающее участие *народного* земского элемента в русской политической жизни домонгольского периода.

А между тем, этот тезис о разграничении русским народом земли и государства был очень важен для К. Аксакова, ибо, принявши его, можно сразу провести резкое различие между русским и западноевропейским народами: эти последние политиканствуют, первый же смиренно подает мнения, когда его о том спрашивают.

Из своего тезиса К. Аксаков делал следующие выводы:

Правительству – неограниченная власть государственная, политическая; народу – полная свобода нравственная, свобода жизни и духа (мысли и слова). Единственно, что самостоятельно может и должен предлагать безвластный народ полновластному правительству – это мнение (следовательно, сила чисто нравственная), – мнение, которое правительство вольно принять и не принять. Правительству – право действия, народу – право мнения и, следовательно, слова.

Нетрудно видеть, сколько метафизического тумана напущено в эти немногие строки. Кто на самом деле поручил К. Аксакову говорить от имени народа русского? «Взгляд русского народа на затронутый предмет, – говорит Вл. Соловьев – в точности не известен, позволительно, однако, думать, что значительное большинство этого народа решительно предпочло бы свободу от податей и от военной повинности самой полной свободе слова». На самом деле странно было бы воображать себе англоманствующих подлиповцев, но Аксаков с наивностью кабинетного человека выдает свои культурные вожделения за общенародные. В подтверждение своей мысли он ссылается на то, что «наш народ во время призвания варягов хотел оставить для себя свою внутреннюю собственную жизнь – жизнь мирную духа». Что хотел и чего не хотел наш народ во время призвания варягов – вещь темная, и приписывать ему можно какие угодно желания. Только кому какое дело до того, о чем мечтали гостомыслы IX века?

Таким образом, аргументация К. Аксакова, несмотря на благородство и чистоту его намерений, оказывается совершенно неубедительной. Он не замечает даже, в какое жестокое противоречие приходится ему впасть. Раз полновластное правительство и безвластный народ – догматы, то как можно даже

заикаться о какой бы то ни было свободе слова? Ведь свобода слова – одно из крупнейших политических приобретений западных народов.

Не *политический*, а нравственный путь развития считает Аксаков истинно русским путем. К этому взгляду приспособлено и пригнано все понимание им русского прошлого. «Он твердит каждую минуту, что русский народ никогда не хотел власти, всегда даже открещивался от нее, как от наваждения. Он не признает никаких исключений из этой своей всеобъемлющей формулы. „Многие думают о Новгороде, – пишет он, например, – как о наиболее менявшем князей, что он был республика – совершенно ложно! Новгород не мог оставаться без князя. Возьмите новгородскую летопись, прочтите, с каким ужасом говорит летописец о том, что они три недели были без князя“.

По мнению Аксакова, через всю историю России, начиная с древнейших времен ее и вплоть до междуцарствия и Петра, проходит это решительное открещивание от власти. «Государство (т. е. власть) никогда у нас не обольщало собой народа, не пленяло народной мечты; вот почему, хотя и были случаи, не хотел народ наш облечься в государственную власть, а отдавал эту власть выбранному им и на то назначенному государю, сам желая держаться своих внутренних, жизненных начал.

Поэтому-то наше развитие совершенно другое, чем европейское. Европейские народы шли путем *внешней* правды, русский – путем *внутренней.* Говоря подробнее, видно, что дело обстоит следующим образом:

«Нравственное дело, – пишет Аксаков, – должно и совершаться нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека, путь свободного убеждения, путь мира, тот путь, который открыл нам Божественный Спаситель, и которым шли его Апостолы. Это путь *внутренней правды».*

Существует, однако, и «другой путь, гораздо, по-видимому, более удобный и простой: внутренний строй переносится вовне, и духовная свобода понимается только как *устройство, порядок;* основы, начала жизни понимаются как правила и предписания. Все формулируется. Этот путь не внутренней, а *внешней правды,* не совести, а принудительного закона».

Последним путем, «путем внешней правды, путем государства двинулось западное человечество». Такой путь гибелен. «Формула, какая бы то ни была, не может обнять жизни; потом, налагаясь извне и являясь принудительною, она утрачивает самую главную силу, силу внутреннего убеждения и свободного ее признания; потом далее, давая таким образом

человеку возможность опираться на закон, вооруженный принудительной силой, она усыпляет склонный к лени дух человеческий, легко и без труда успокаивая его исполнением наложенных формальных требований и избавляя от необходимости внутренней нравственной деятельности и внутреннего нравственного возрождения».

Русский же народ пошел путем *внутренней* правды. «Под влиянием веры в нравственный подвиг, возведенный на степень исторической задачи целого общества, „создался «мирный и кроткий характер древнерусского народа“, благодаря которому он, не желая государствовать, *добровольно* призвал государственную власть извне. Добровольность призвания государства имеет в глазах Константина Сергеевича особенную цену, потому что она резко оттеняет процесс нарождения государства в России от процесса его нарождения на Западе, где он совершился путем завоевания. Вследствие добровольности призвания в России земля и государство, хотя «и не смешались, а отдельно стояли», все-таки находились «в союзе друг с другом». В призвании добровольном означились уже отношения земли и государства – взаимная доверенность с обеих сторон. Не брань, не вражда, как это было у других народов вследствие завоевания, а мир – вследствие добровольного призвания».

Этот-то мир между властью и народом, эта-то живая нравственная связь между государством и землею были, по К. Аксакову, нарушены реформою Петра. До той поры все шло, как следует: правительство не вмешивалось в народную жизнь и ничем не стесняло ее свободу, а народ не вмешивался в дела управления… При Петре Великом правительство изменило русскому идеалу, уклонилось с русского пути, отнявши у народа свободу жизни и мнений, подчинивши его бюрократической регламентации и т. д. Теперь правительство должно внять голосу вновь возникшего (в славянофильстве) русского самосознания и восстановить нарушенное им истинное отношение между государством и землею; оно должно возвратить народу полноту его жизненной свободы, оставляя себе полноту власти и политических прав. «В противном случае следует, – по мнению Аксакова, – ожидать, что народ, испорченный послепетровскою историей и соблазненный дурным примером государства, в свою очередь изменит истинному русскому пути с своей стороны, нарушит идеал русского строя, станет добиваться политических прав, вступит на западноевропейский путь».

Чтобы избегнуть этого, К. Аксаков дает свой знаменитый совет – «назад», в допетровскую Русь, которая представлялась ему чем-то вроде Аркадии, где мудрые пасли стада смиренномудрых

верноподданных. Мы нисколько не преувеличиваем. Излагая древнерусскую историю, Аксаков говорит между прочим:

«Явился великий князь и потом царь московский и всея Руси, наследственный и самодержавный. Отношение земли и государства, народа и правительства, прежняя взаимная доверенность: – были основою их отношений. Подобно тому, как князь созывал вече, царь созывал земскую думу или земский собор. Народ не требовал, чтобы государь спрашивал его мнения. Государь не опасался спрашивать мнения народа. Кто читал эти думы, тот знает, как просто излагалось в них дело. Спрашивали обыкновенно выборных от всех сословий; они говорили: мысль наша такова, а там, как будет угодно государю. Не личное самолюбие, не гордость западной свободы была здесь, а обоюдное искреннее желание пользы. Здесь не ораторствовали, а говорили, и слово не превышало дела».

Или:

«Русь не понимала рабства, – намечал в общих чертах Константин Сергеевич свою главную мысль, – к тому же в ней нет ни либерализма, ни рабства. Свободная страна, Запад начал с рабства, прошел сквозь бунты и хвастает холопской дерзостью либерализма».

«Запад имеет опытность греха; он уж узнал все мерзости и установил свои отношения. Кому же, как не лисе, все лисьи норки знать? Русь не имела этой опытности и поневоле попала в рабство».

«Большая разница между грехом и пороком. В древней Руси есть грехи, но нет пороков». Вот бы где побывать!

Читатель, наверное, спросит, с какой это стати так долго удерживали его внимание на учении, которое, созданное кабинетным иллюзионером и мечтателем, давным-давно отжило свой век.

Но, во-первых, чем богаты – тем и рады. Славянофильство – во всяком случае – единственная оригинальная система русской философской мысли, во-вторых, – сила ее совсем не в аргументах, вообще слабых и слишком произвольных.

Аргументы эти едва ли могут убедить кого-нибудь в настоящее время, но они как нельзя более характерны для понимания духа создавшей их эпохи и того класса общества, к которому принадлежали их защитники.

Как видит всякий, в системе Аксакова все сводится к противоречию между понятиями «моральность» и «легальность». Одна сила светлая, другая – темная. Одно начало – западноевропейское, другое – наше, русское, историческое и в то же время национальное. «Моральность» опирается на любовь, на

доверие, вообще на внутреннего человека, на божественную искру, заложенную в каждом из нас; легальность – на свод законов, статьи и уставы, словом, – на внешнюю силу и на права, приобретенные насилием. Никто и теперь не может сомневаться в том, что моральность выше легальности, что жить «по-Божьи» куда лучше, чем по уставу или по принуждению; но разве история выбирает когда-нибудь между лучшим или худшим в нравственном смысле этих слов? Она идет своей дорогой, и эта дорога удобства или, вернее, соотношения общественных сил. Она всегда давала и дает перевес сильному над слабым и, прежде чем наградить человека правами, говорит ему: сначала приобрети их, а потом сумей защищать. Ничего сентиментального, сердечного нет в прошлых летописях земли, сострадание и жалость доступны личностям, а не массам, любовь руководит отдельными поступками, но бессильна против хода общественной жизни. Эта последняя знает свою богосправедливость, но и справедливость является часто механической и внешней. Успех исторической борьбы обуславливается не *нравственным* превосходством, одной из борющихся сторон над другой, а превосходством ее силы вообще, причем нравственная сила входит лишь как элемент всей совокупности сил – физических, умственных, материальных. Вооружившись любовью и добродетелью, нельзя выступать против скорострельных ружей, и история международных отношений Европы ежеминутно подтверждает эту простую и элементарную истину.

Но она была совершенно недоступна К. Аксакову, как недоступна она теперь графу Толстому. Напротив, все толкало славянофильского пророка в сторону ее отрицания и полного пренебрежения ею. Он органически не мог не признавать превосходства моральности над легальностью уже потому, что ключом для понимания всех жизненных явлений, основой, на которой он воздвигал все свои идеалы, была *семья,* гармонически сложившаяся, живущая в мире, любви и спокойствии, – такая т. е., среди которой он вырос сам.

Жизнь западноевропейских народов представлялась ему холодной и мертвой. Он не мог восторгаться культурой и цивилизацией, потому что ясно и основательно видел, как культура и цивилизация обездушивают человека, опустошают его нравственный мир и делают из него живого мертвеца, в котором совершенно иссякло духовное, любовное начало. Он ненавидел отношения между людьми, основанные лишь на контракте. Он хотел живой связи, живого общения. Где же найти их? Семья, разумеется, дает первый и лучший пример такого рода жизни. Отец – глава семьи, ее руководитель, ее царь, у него полнота прав

и власти, но эти права и эта власть охотно признаются всеми чадами и домочадцами, потому что в их проявлениях нет ничего принудительного, насильственного. Отец правит, но правит любовно, влияя лишь авторитетом своей нравственной силы, и таким путем подчинение и свобода мирно уживаются друг с другом. В семье нет начальства, а есть руководитель, нет насилия, а есть убеждения, нет рабства, а есть свобода личности, добровольно повинующейся.

То же самое К. Аксаков мечтал найти и в старорусской истории. Он восторгался былинами и эпосами, даже московскими порядками, потому что прежняя Россия казалась ему такой похожей на любезную сердцу Аксаковку. Власть и народ находились между собой в живом общении; ничто не стояло между ними, никто не стремился воплотить в статьи и формулы связующую их любовь.

Угловатости славянофильской доктрины исчезли или заменились другими, но ее настроение, это настроение национальной гордыни – живо еще и поныне. Ведь недавно еще один профессор, чуть не академик, торжественно заявил: «нас не может радовать похвала немцев, но может радовать их порицание: значит, мы не похожи на них». Но к этой живучести славянофильства мы еще вернемся, пока же несколько слов о его положительной роли в русской жизни, положительной, к тому же, совершенно случайно.

Нечего, я думаю, и пояснять, что между народническими идеалами К. Аксакова и идеалами управы благочиния не было ничего общего. Он ошибался: обманывая себя, он обманывал других – это грех перед историей, но он не гнул своей совести, не напяливал на нее вицмундира; он защищал достоинство человеческой личности и ее свободу, как мог, как понимал их. Свобода слова – вот самый конкретный практический пункт его учения, и он потратил на него не меньше страсти, чем на защиту допетровской всероссийской добродетели. Позволю себе привести одно стихотворение, сохранившееся в его бумагах. Он пишет:

Ты – чудо из божьих чудес,
Ты – мысли светильник и пламя,
Ты – луч нам на землю с небес,
Ты – нам человечества знамя…
Ты гонишь невежества ложь,
Ты вечною жизнию ново,
Ты к свету, ты к правде ведешь,
Свободное слово.

Лишь духу власть духа дана, —
В животной же силе нет прока:
Для истины – гибель она,
Спасенье – для лжи и порока;
Враждует ли с ложью – равно
Живит его жизнию новой…
Неправде – опасно одно
Свободное слово!

Ограды властям никогда
Не зижди на рабство народа!
Где рабство – там бунт и беда;
Защита от бунта – свобода.
Раб в бунте опасней зверей,
На нож он меняет оковы…
Оружье свободных людей
Свободное слово!

О слово, дар Бога святой,
Кто слово, дар божеский, свяжет,
Тот путь человеку иной, —
Путь рабства преступный укажет,
На козни, на вредную речь
В тебе ж и целенье готово,
О, духа единственный меч
Свободное слово!

(С.А. Венгеров, т. I, стр. 227.)

Одно уже это стихотворение должно сделать очевидным для читателя тот факт, что К. Аксаков, несмотря на свою безусловную преданность устоям русской жизни, числился в ряду оппозиции и признавался красным. В этом отношении он разделял участь, общую всем главарям славянофильства. В них находили слишком много свободы и самостоятельности, было подозрительно уже то, что они решались говорить и думать, когда все вокруг молчали. Когда в 1852 году они задумали издавать «Московский сборник», долженствовавший заменить все прежние неудачные журналы, благополучно проскочил через цензуру лишь первый том, а второй том и не появился на свет Божий.

Любопытно поэтому привести документ, из которого видно, как относилась к К. Аксакову цензура того времени. В записке

министра народного просвещения С. Уварова, перепечатанной в «Истории русской цензуры» А. М. Скабического, мы читаем между прочим:

«В статье Аксакова о богатырях изображение характера и подвига Добрыни Никитича, Ильи Муромца, Ставра, Рахдая и других богатырей, а равно пиры и домашняя жизнь самого Владимира – не такое, как повествует история, а как описывается в древних русских сказках и песнях».

«Подобно Хомякову, К. Аксаков старается отыскать в сказках и песнях признаки того же, небывалого в России, общинного порядка дел. В одной песне сказано, что Владимир, делая пиры у себя, приказал брать со всякого званого по 10 рублей, и К. Аксаков говорит: «Весьма замечательное указание: итак, этот княжеский пир – складчина; пиры складчиною – явление совершенно русское и древнее; вспомним *братчины,* например братчину Николыцину, где складочный пир и вместе союз, в котором выбирается и пировой староста, это также чисто *общинное явление;* это вольное видоизменение *самородной общины,* ее отпрыск… К таким же *общинным явлениям,* возникшим из самой *коренной общины,* причисляем мы *артель и даже* казацкое устройство». Этого мало, даже в хороводе сочинитель видит образ *русской общины.*

«Из других песен К. Аксаков выводит, что богатыри сидели у Владимира не по аристократическому праву награды, и прибавляет, что «аристократическое понятие, образовавшееся на Западе рыцарством, не существовало в древней Руси, на богатырской скамье сидели и Ставр, богатый боярин, и Алеша, сын попа, Иван, сын гостя (купца), и, наконец, Илья Муромец, крестьянин: *всем им равный почет».* Отношения богатырей к великому князю *почтительны, но не подобострастны; они вольно собирались вокруг него,* зовут его красным солнцем, солнцем Киевским, охотно служат ему службу, но *ни в чем не выражается унижение или придворное их отношение к великому князю;* битвы, подвиги, свадьбы и пиры составляют внешний строй этой жизни, в которой слышатся *воля и приволье».*

«К. Аксаков указывает на места в песнях, где *Соловей-разбойник* называет князя вором; богатырь *Тугарин-Змеевич* целует великую княгиню в уста сахарные, а Алеша Попович чуть не назвал ее сукою… Сверх того, К. Аксаков обращает внимание на песню, в которой описывается нашествие на Киев татарского царя Калины. Хотя это и неприятельский царь, но все неприлично, что сочинитель выписывает из песни следующие стихи:

Собака, проклятый ты, Калина царь!

Вас-то царей не бьют, не казнят,
Не бьют, не казнят и не вешают!

«Песни и сказки, на которых К. Аксаков основал статью свою, большей частью напечатаны; все читали их, относя бесцеремонные поступки богатырей к простоте древних нравов или вымыслу составителей сказок: один К. Аксаков мог вывести из них – небывалые в России – общину, вольницу и дерзает богатырей ставить против великого князя!..»

«Константин Аксаков написал еще „Примечание к статье Шеннига: «Купало и Коляда“. В этих примечаниях он несколько раз опять упоминает об *общинной жизни* в древней Руси, утверждая, будто бы *общинное начало неотъемлемо соединено с существом славянина.* Мысль совершенно коммунистическая.

«Еще в „Московском сборнике“ находятся два стихотворения К. Аксакова, ничтожные по содержанию, но и в них есть непонятные мысли и говорится о человеке, которого дуде *свободен и открыт».* Вообще же, К. Аксакову дана следующая характеристика:

«Константин Аксаков, магистр московского университета, живет в Москве, пропитан славянофильством. В 1846 году он напечатал в „Московских ведомостях“ статью: „Семистолетие Москвы“. В этой статье, сверх неуместных доказательств и преимуществ Москвы как столицы империи перед С-Петербургом высказывались вообще мысли, несообразные с монархическим правлением. За эту статью и сочинителю, и цензору сделано было строгое замечание. Этот молодой человек не без ума и образован, добросовестен и хорошей нравственности, но его, как фанатика, трудно убедить в ложности его мнений».

Но он был подозрителен еще и по другой причине. Как сказано выше, его идеал свободно укладывается в формулы: «патриархальность» и живая нравственная связь между государством и землей. Припомните теперь характеристику николаевской эпохи, сделанную Любимовым, и вы сейчас поймете, что нельзя было не заставить замолчать московского милленария [13]. С точки зрения К. Аксакова чиновничество и было тем средостением [14], которое мешало установлению живой нравственной связи, тем узурпатором, который отнял у народа свободу духа и заменил ее предписаниями.

К. Аксаков был, наконец, подозрителен просто потому, что отличался от других своими речами, взглядами и даже костюмом. Он носил мурмолку и бороду… а ведь черт их знает, что значат мурмолка и борода. А нет ли тут измены, спрашивали Амосы

Федоровичи, и, разумеется, измена нашлась. В 1853 году вышел знаменитый указ министра внутренних дел, которым объявлялось несовместимым с дворянским званием ношение бороды.

Глава VI. Иван Аксаков. – Немезида славянофильства. – Славянофильство как классовая теория

«Внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше, – это противоречие погубило славянофильство как учение, но оно же составляет несомненное преимущество старых славянофилов как людей и деятелей, сравнительно с их позднейшими преемниками – псевдопатриотами. Они питались иллюзиями – это так, но, благодаря своему возвышенному нелицемерному настроению в важные критические минуты для русского общества, когда вопросы ставились на жизненную практическую почву, старые славянофилы бросали в сторону мечты и претензии народного самомнения, думали только о действительных нуждах и бедах России, говорили и действовали как истинные патриоты.

«Во время осады Севастополя, – пишет Ю.Ф. Самарин, – в самую пору мучительного для нашего самолюбия отрезвления, когда очарования одно за другим спадали с наших глаз и перед нами выступали все безобразия, вся нищета нашей действительности, на одном вечере, в приятельском кругу, Хомяков был как-то особенно весел и беспечен, и на недоумение одного из друзей, как может он смеяться в такое время, отвечал: „я плакал про себя тридцать лет, пока вокруг меня все смеялось. Поймите же, что мне позволительно радоваться при виде всеобщих слез ко спасению“. Говорить о спасении России, да еще посредством самоосуждения, путем горького сознания во всем безобразии и во всей нищете нашей действительности – не явная ли это измена и отступничество? И действительно, Хомяков и его единомышленники подверглись хотя и запоздалой, но все-таки внушительной анафеме от представителей „новейшего зоологического патриотизма“.

Если бы «любовь» была не производной, а производящей силой, если бы историческая действительность подчинялась мечтам человека, если бы жизнь народа была свободой, а не необходимостью, – славянофильство, ввиду громадных затраченных на него нравственных и умственных сил, могло бы быть плодотворным. Но благородство, добродетель, искренность,

сопровождаемые иллюзиями, не котируются на бирже действительности. «У славянофилов, как и у нас, – говорит один их теоретический противник, – запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество, чувство безграничной, охватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус, как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно».

Но действительность мстит за невнимание к себе и мстит подчас очень жестоко. Как и чем отомстила она славянофильству – увидим сейчас.

Константин Сергеевич Аксаков умер с небольшим 40 лет, успев достаточно разочароваться в жизни, но не в своей теории. Он умер тем самым «большим ребенком», про которого отец его писал как-то: «кажется, остается желать, чтобы он на всю жизнь оставался в своем приятном заблуждении, ибо прозрение невозможно без тяжких и горьких утрат: так пусть его живет да верит Руси совершенству». Не то случилось с братом его, Иваном Сергеевичем Аксаковым.

Иван Сергеевич Аксаков, младший сын Сергея Тимофеевича, родился 26 сентября 1823 года, в селе Надеждине Белебеевского уезда Уфимской губернии. Деревенские впечатления его еще слабее, чем у старшего брата Константина, потому что всего 4 лет от роду его перевезли в Москву. учился он, однако, не здесь, а в Петербурге, в институте правоведения, который и закончил в 1842 году. Идя по обычной дороге, он поступил в «странноприимный» Сенат московский, тогда еще существовавший. Естественно, что у молодого, горячего юноши, поклонника Шиллера и Гете, еще в ученические свои годы исходившего летом всю Германию и поклонявшегося разным святыням поэзии и философии, нисколько не лежало сердце к чиновничьей карьере. В написанной им в то время «Мистерии в трех периодах», – «Жизнь чиновника» – герой первого периода, «будущий чиновник», задает себе гамлетовский вопрос:

Служить иль не служить? да, вот вопрос!
Как сильно он мою тревожит душу!
Не я ль мечтал для общей пользы жить?
Ужель теперь я свой обет нарушу?

Демон службы шепчет ему:

И начальство высшее, дорожа тобой,

Грудь украсит лентою, осенит звездой…
Не ища фортуны милости случайной,
Будешь ты действительный, будешь ты и тайный…

Во втором периоде, когда герой «Мистерии» поступил уже на службу, прежние порывы и прежние колебания исчезли. Он мечтает теперь лишь о кресте, который и получает за свою угодливость и льстивость.

В третьем периоде герой «Мистерии», ставший генералом, подводит итоги своей жизни, и что же должен сказать он о себе перед судом проснувшейся совести?

Да, счастье пошлое судьба мне даровала,
Занятья «дельные» мой иссушили ум,
И грудь чиновника ничто не волновало:
Лишь служба – вот предмет моих привычных дум.
С грустью вспоминая прежнее, он говорит:
А памятны мне прежние те годы.
Когда был молод я и на своем пути
Так смело выжидал житейские невзгоды…
Но жизнь прожить – не поле перейти.
Душа тогда прекрасное любила,
Порывы доблести мне волновали грудь.
Но жизнь бумажная в ней свежесть погубила
И охватил меня избранный мною путь.
И грустно думать мне, что тщетно я трудился,
Что даром отдал жизнь на жертву службе я,
Что тружеником здесь ничтожным я явился,
Что не своей я шел дорогой бытия!
Что от моей усердной, долгой жизни,
От моего служебного труда
Ни пользы никому, ни блага для отчизны,
Ни светлой памяти, ни ясного следа.

Легко понять, кем было навеяно такое отрицательное отношение к бюрократическим идеалам. Не говоря уже о «Горе от ума» и «Ревизоре», Иван Сергеевич в славянофильском кружке наслушался немало самых страстных реплик против чиновничества «этого средостения», этой «гангрены русской жизни».

После недолгой, бесполезной и томительной по своей бесполезности службы в московском сенате, – этом удивительном архиве государственных старцев, Ивана Сергеевича потянуло в

народ. «И вот он уезжает в глушь, поступает в уголовную палату, сначала калужскую, потом астраханскую. Как совершенно верно сказал кто-то после смерти Аксакова, отъезд в провинцию из столицы, где, при огромных связях Сергея Тимофеевича и славянофильского кружка, он мог бы сделать самую блестящую карьеру, был своего рода хождением в народ». Честный, молодой, горячий, он попал в ту обстановку, которая бросала мрачную тень на всю русскую жизнь. Россия в то время, по словам Хомякова, была «в судах черна неправдой черной»… Тяжела, утомительна, не по силам одному человеку была борьба с этой черной неправдой.

«Знавшие Ивана Сергеевича в эту пору его деятельности, – сообщает один из наиболее обстоятельных некрологистов Аксакова, – знают, как томилась и мучилась молодая еще тогда душа его в эту суровую эпоху и как поборол он в себе чувство личного отвращения, чтобы нести эту тяжелую службу, зная, что несением этого креста ему удастся все-таки уменьшить, хотя немного, количество обильно расточаемых плетей, пролагая хотя ничтожный простор правде и справедливости. Известная литературному миру Авдотья Петровна Елагина послала ему в этот период его отчуждения из Москвы мраморное распятие, на котором лик облеченного терновым венцом Спасителя представлялся ей особенно хорошо выражающим глубь нравственного страдания. В письме, которым сопровождалась эта посылка, старая уже и тогда Авдотья Петровна писала, что, взирая на этот лик представителя высшего страдания, она всегда вспоминала о тех внутренних муках, о той нравственной пытке, которую приходится переживать И.С. на добровольном поприще его служения».

Если Авдотья Петровна и хватила значительно через край, то все же это нисколько не мешало судейским впечатлениям Ивана Сергеевича быть очень и очень тяжелыми. «Да возродится, *наконец,* правда и милость в судах», – сказал в начале 90-х годов император Александр III, и как далеко от этого «наконец» было полвека тому назад. Ивану Сергеевичу надо было или прать против рожна целой клики уголовных мародеров, или уйти совсем из палаты. Он выбрал последнее и все в тех же поисках живой работы поступил чиновником особых поручений в министерство внутренних дел. С обычной своей энергией исполнял он самые тяжелые поручения и, один из немногих чиновников того времени, умел даже быть гуманным в своих отношениях к раскольникам. Между прочим, ему пришлось столкнуться с таинственной сектой «бегунов», о которой он написал обширное исследование.

В 1852 году Иван Сергеевич Аксаков вышел в отставку. Эпизод, сопровождавший его удаление со службы, был бы, пожалуй, и смешон, если бы не был так грустен. По словам С.А. Венгерова, он заключался в следующем: «За Аксаковым открылись разные изъяны. Так, ярославский губернатор сообщил в Петербург, что молодой чиновник читает знакомым какую-то подозрительную рукопись. Потребовали объяснения у Ивана Сергеевича. Он переслал рукопись, которая оказалась известной его поэмой „Бродяга“. Поэму прочли и не нашли в ней ничего предосудительного. Но, тем не менее, молодому поэту были поставлены на вид два обстоятельства. Во-первых, ему письменно предложили вопрос: «почему он, Аксаков, *беспаспортного* человека выбрал себе в герои?», а затем, возвращая поэму, сделали при этом конфиденциальное сообщение, что «занятие стихотворством не приличествует человеку, облеченному доверием правительства».

Аксаков в ответ на это подал прошение об отставке, которую и получил с чином надворного советника. Он решился посвятить себя журналистике и, вернувшись в Москву, занялся редактированием «Московского сборника». I том этого издания благополучно прошел цензурные мытарства и появился в свет без всяческих ампутаций. Но как бы вдогонку ему – этому благополучно проскользнувшему сборнику, министр народного просвещения, князь Ширинский-Шахматов, обратил внимание на «предосудительность направления», находя, что «хотя народность и составляет одну из главных основ нашего государственного быта, но развитие понятия о ней не должно быть одностороннее и безусловное: иначе безотчетное стремление к народности может перейти в крайность и вместо пользы принести существенный вред». Ввиду этого было приказано ко II тому сборника отнестись возможно «внимательно». Разумеется, он не появился совсем, а его молодой редактор оказался в разряде крайне подозрительных. Ему не только было предписано, как и остальным членам славянофильского кружка, представлять свои произведения для цензуры непосредственно в Главное управление по делам печати, но, кроме того, его лишили права быть когда бы то ни было издателем или редактором журнала.

Мало того, когда Аксаков хотел было поехать на военном корабле вокруг света – его не пустили.

Будучи не у дела, Аксаков с удовольствием взялся за поручение Географического общества описать малороссийские ярмарки и, проработав полтора года, выпустил в свет обширное исследование о малороссийской торговле вообще. В промежуток между собиранием материалов и обработкой их Аксаков в

тяжелые дни севастопольской кампании поступил в ополчение и был казначеем серпуховского отряда. Тут он «удивил весь официальный мир мужеством своей честности. Командующий московским ополчением – граф Строгонов – даже не решился подписать отчет, представленный изумительным казначеем, ибо отчет этот был, в силу великой экономии, обвинительным актом чуть ли не всех других поголовно. Отчет так и остался неподписанным, несмотря на все настояния Аксакова». «Ополченская служба Ивана Сергеевича, – говорит Гиляров-Платонов, – сопровождалась полемикою литератора-ополченца с командовавшим всею Московскою дружиною графом Строгоновым. Оригинальная полемика, философская и политическая, ведшаяся под видом официальных приказов и официальных рапортов, где Аксаков-ополченец был тот же непреклонный боец за меньшую братию, как Аксаков-редактор „Дня“ и „Москвы“. „Это Аксаковское влияние!“ – воскликнул Строгонов, когда при роспуске ополчения, собрав дружину, обратился к рядам с предложением, не хочет ли кто из ратников перейти в военную службу, и когда в ответ на его слова „кто хочет, ребята, пусть поднимет руку“ послышался каламбур: „Кто же, Ваше Сиятельство, на себя руку поднимет?“

После войны Аксаков, ввиду новых веяний, возвратился к известному своему призванию – журналистике. На самом деле это был настоящий публицист, пламенный, искренний, бесконечно уверенный в себе и своих убеждениях. С молоком матери, с атмосферой родительского дома, с дружбой брата воспринял он славянофильские догматы. Вместе с Константином Сергеевичем он верил и исповедовал, «что русский народ есть народ негосударственный, т. е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя государственных прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия», – и хотел лишь того, чтобы между властью и земщиной установились живые нравственные отношения, уничтоженные реформой Петра. В истинном смысле слова он был plus royaliste gué le roi,[15] в мистическом ореоле представлялось ему самодержавие, он падал перед ним ниц с религиозным уважением. Непонятное исключение. Но все равно, как не дозволялось доводить до крайности идею народности, так и идея самодержавия в форме, приданной ей Иваном Сергеевичем, оказалась неподходящей к требованиям высшей политики. В 1859 году Аксакову разрешили издавать газету «Парус» и запретили, очевидно по недоразумению, на 2-м номере *за статью Погодина.* Желая изгладить неблагоприятное впечатление, Аксакову намекнули, что он может издавать еженедельный журнал «Пароход», но с тем

условием, чтобы идея самобытности развития народностей как славянских, так и иноплеменных, не имела места в газете и все, что до сего предмета относится, было бы из нее исключено». Аксаков не согласился и занялся неофициальным редактированием «Русской беседы». В 1861 году он выхлопотал право издавать еженедельную газету «День», с тем, чтобы в ней не было политического отдела. «День» выходил благополучно вплоть до 1865 года. В 1867 году Аксаков затеял ежедневную «Москву» – газету, которая за 22 месяца своего существования получила девять предостережений и, следовательно, три раза была приостановлена – в общей сложности в течение 13 месяцев. За «Москвой» последовала «Русь».

Как публицист, Иван Аксаков составил себе крупное имя. Особенным успехом пользовалась его газета «День», где проводились лучшие идеи старого славянофильства. «Аксаков – издатель „Руси“ – был, по преимуществу, глашатай русской самобытности и связанной с нею национальной исключительности, глашатай ожесточенной вражды ко всему тому, что дорого прогрессивной части русской интеллигенции. Аксаков же – издатель „Дня“, поддавшись общему течению эпохи, реже направлял свой талант на бесплодную и часто отрицательного значения позировку с оторванными от нивы прогрессистами, а предпочитал посвящать его положительным задачам времени, восторженному комментированию реформ, быстро следовавших одна за другою. Наиболее горячие симпатии „Дня“ принадлежали крестьянскому делу. Ни один из органов тогдашней печати не посвящал столько места выяснению разных деталей, которые возникли при практическом выполнении крестьянской реформы. „День“ славился своими обстоятельными корреспонденциями по крестьянскому делу, в которых всегда отстаивались интересы мужика.

Почему же Аксаков, в принципе отрицавший какие бы то ни было политические преобразования, Аксаков, постепенно все более и более сближавшийся с партией застоя, не ладил и не мог ладить с цензурой? Виновата в этом, думается, не столько сущность его идей, сколько форма, которую он придавал им – форма, всегда резкая, непримиримая, вызывающая. Он слишком подчеркивал свое право как земского верноподданного человека говорить все, что ему кажется справедливым. Голос общественного мнения – хотя бы одной только части его – находил себе в нем слишком смелого трибуна. Лучшим образчиком указанных сторон его деятельности может служить знаменитая речь, произнесенная им в 1878 году, речь председателя Славянского благотворительного комитета и

человека, наиболее волновавшегося по поводу войны за освобождение, – при первых же слухах о результатах берлинского конгресса.

Это случилось, повторяю, в 1878 году.

В это время, как известно, происходил печальной памяти берлинский конгресс. Мирный трактат еще не был ратифицирован, но уже содержание его было установлено почти окончательно и, как выражался Иван Сергеевич, «корреспонденции и телеграммы ежедневно, ежечасно, на всех языках, во все концы света разносили из Берлина позорные вести о наших уступках». Не мог перенести Иван Сергеевич этого «надругательства» над Россией; в заседании московского Славянского комитета от 22 июня 1878 года разразился самой пылкой из всех своих речей, в которой дал полную волю своему патриотическому негодованию. «Мы собрались сегодня, – говорил он, – хоронить миллионы людей, целые страны, свободу болгар, независимость сербов, хоронить великое, святое дело, заветы и предания предков, наши собственные обеты, хоронить русскую славу, русскую честь, русскую совесть». Разве «плененные турецкие армии под Плевной, Шипкой и на Кавказе, зимний переход русских войск чрез Балканы и геройские подвиги наших солдат, потрясшие мир изумлением, торжественное шествие их вплоть до Царьграда, эти необычайные победы, купленные десятками тысяч русских жизней, эти несметные жертвы, принесенные русским народом, эти порывы, это священнодействие народного духа, – разве все это сказки, миф, порождение распаленной фантазии, может быть, даже „измышление московских фанатиков“? „Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъятых тобою трудах, манишь простить твои победы?… Едва сдерживая веселый смех, с презрительной иронией похваляя твою политическую мудрость, западные державы, с Германией впереди, нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением чувствительнейшей признательности, подклоняешь под нее свою многострадальную голову!..“ Но не хочет всему этому поверить оратор. „Ложь!“ – восклицает он. „Если в таком чудовищном образе и представляется Россия из берлинских писем и телеграмм, то самая чудовищность служит лучшей порукой, что этому не бывать“.

«Что бы ни происходило там, на конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен ее венчанный

оберегатель, он же и мститель! Если в нас, при одном чтении газет, кровь закипает в жилах, что же должен испытывать Царь России, несущий за нее ответственность пред историей? Не он ли сам назвал дело нашей войны „святым“? Не он ли, по возвращении из-за Дуная объявил торжественно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских городов, что „святое дело будет доведено до конца“? Страшные ужасы брани, и сердце Государя не может легкомысленно призывать возобновления смертей и кровопролития для своих самоотверженных подданных, – но не уступками, в ущерб чести и совести, могут быть предотвращены эти бедствия. Россия не желает войны, но еще менее желает позорного мира. Спросите любого русского из народа, не предпочтет ли он биться до истощения крови и сил».

«Долг верноподданных велит всем надеяться и верить, – долг же верноподданных велит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между царем и землей, между царской мыслью и землей, между царской мыслью и народной думой».

Эта речь – прекрасный образчик красноречия Аксакова. Вы как бы видите перед собой страстного и даже дерзкого в своей страстности человека и слышите его взволнованный, убежденный голос. Он весь в этой речи, со своей бесконечной верой в русский народ, его непреоборимое могущество, чуткий ко всем обидам национального достоинства, весь со своими мечтами о всеславянском царстве, которое должно явить человечеству образец жизни, основанной на доверии и любви друг к другу племен и народов. Освободительная война 77–78 годов была праздником его жизни. Казалось, что достигнуто уже все, к чему так долго и напрасно стремились предыдущие поколения. Смыт позор Севастопольской войны, золотой крест засиял на куполе Св. Софии, полумесяц изгнан в Азию, и древняя Византия восстала из гроба, чтобы явиться миру в еще неведомом величии… И вдруг берлинский конгресс!.. Всю силу своего «патриотического негодования», всю мощь своей речи И. Аксаков направил против дипломатии, которая являлась в его глазах одним из видов бюрократического средостения. Разумеется, это не могло пройти ему даром и, несмотря на весь поистине грандиозный авторитет, которым пользовался Аксаков, он был вызван из Москвы для успокоения себя на деревенском воздухе, хотя и ненадолго…

В 1880 году он принялся за последнее свое дело – издание «Руси». Оптимистическая гарь славянофильства особенно резко выступала в этом органе Аксакова. Охладел реформаторский пыл юности, поддержка устоев стала главнейшей задачей. Друзья

Аксакова объясняют неуспех «Руси» следующим образом:

«Со второго же года издания „Руси“ оказалось, что людей, смотрящих строго и трезво на русскую действительность вместе с Аксаковым, слишком немного. Общество, не привыкшее к простой и серьезной русской мысли и ждавшее от „Руси“ эффективной борьбы с существующим порядком вещей, той страстной и смелой борьбы, которая велась в „Москве“ и „Москвиче“ – разочаровалось. Аксаков, при всем невысоком мнении о ставшем у дел консерватизме, не объявил ему открытой войны»… «Правильно это было или нет, пока не будем судить, но несомненно, что это обстоятельство было одной из причин, обусловливавших неуспех „Руси“ даже у людей, способных выслушать и прочувствовать сердцем русское слово».

«Русь» Аксакова оставила по себе не особенно лестную память, хотя и не во всех кружках общества. Но все же не видно, чтобы газета где-нибудь пользовалась особенным влиянием и уважением. На этот раз несомненно, что знаменитого публициста совершенно покинул его такт, сама чуткость оставила, и он совсем не «во благовремение» стал выдвигать на сцену с особенной энергией и даже не без озлобленности правую сторону славянофильства с ее оптимистической гарью. Как ни изменилась эпоха, сущность этой правой стороны все же сводилась к тому, что у нас все благополучно. И в доказательство этого всеобщего царящего на Руси благополучия Аксаков раздражительно нападал даже на тех, кто указывал на ставшую очевидной недостаточность крестьянских наделов. «Это – ложь и клевета», – говорил он, полагая, что какая-нибудь фраза может прикрыть цифры. Не того ждали от Аксакова, особенно после славного периода 77 и 78 годов, когда даже его влечения, его крайность и гиперболы чувства так гармонически сливались с общим горячим настроением. В нем привыкли видеть либерала, прогрессиста, хотя и на почве самого строгого и даже правоверного национализма. Никто еще не забыл, да и некогда было забыть, как он своим пламенным пером приветствовал реформы Александра II, как, смешивая свои личные воспоминания о черной неправде, царящей в судах, с вожделениями каждого мыслящего и честного человека, он видел в новых судах зарю новой, светлой жизни. И вдруг он, как бы поддаваясь старческой слабости, кашляет, брюзжит и ворчит, нападая на слабейших, ломясь в открытую дверь. В той области, где он теперь стал действовать, он мог играть лишь второстепенную роль. Ему не сравняться было с Катковым, и даже искренние его почитатели с неудовольствием замечали порой, что многие и многие статьи «Руси» являются лишь бесполезным придатком к статьям

«Московских ведомостей». Дойти до полной прямолинейности Аксаков не мог, не смел, и вся его страсть, весь его талант тратился на ветер, по-пустому. Он переставал быть истинным журналистом и только пребывал в журнализме… С ужасом и огорчением стал он замечать, что над «Русью» начинают просто подсмеиваться (с «Московскими ведомостями» всегда *считались);* что статьи о русском народе, его величии, благополучии не производят должного впечатления, ибо требовалось, чтобы под эти отвлеченные термины подставлялись реальные понятия, цифры, а у Аксакова – увы – их не было в распоряжении. Только под конец жизни Аксаков, как бы прощаясь с нею и вызванный к тому исключительными обстоятельствами, собрал свои последние силы и явился перед публикой в прежнем грозном величии…

Обстоятельства эти состояли в следующем.

«В одной из статей по болгарскому вопросу, появившейся в конце 1885 года, Иван Сергеевич, со свойственной ему резкостью, напал на нашу дипломатию. Он утверждал, что у заправил нашей иностранной политики нет ни ума, ни сердца, ни совести, ни чести. Подобные нападки неоднократно уже появлялись на страницах „Руси“, все равно как мысли, высказанные Аксаковым в речи о берлинском конгрессе, тоже не были новостью для постоянных его слушателей и читателей. Но, как и во время произнесения этой речи, политический момент появления вышеупомянутой статьи был затруднительный и „Руси“ было дано предостережение, мотивированное тем, что газета *«обсуждает текущие события тоном, несовместимым с истинным патриотизмом».*

Исполняя точную букву закона, «Русь» напечатала предостережение без всяких оговорок, но в следующем же номере (22) Иван Сергеевич поместил совершенно неслыханную по своей резкости отповедь на тему о том, что должно считаться «истинным» патриотизмом, – отповедь на этот раз уже не по адресу дипломатов, а по адресу министерства внутренних дел.

Статья, о которой только что шла речь, появилась в декабре 1885 года, а 27 января 1886 года Ивана Сергеевича не стало. Его сразила болезнь сердца.

Заключение

Читатель видит, на какой мысли построен предыдущий очерк. Постоянно и ежеминутно приходилось мне повторять знаменитые слова Антония в его надгробной речи Бруту: «Но Брут был доблестным человеком». Доблестными, честными, даже чистыми в лучшем смысле этого слова были и первые славянофилы. Не знаю, как не подписаться под строками, принадлежащими человеку другого лагеря, всю жизнь боровшегося со славянофильством и нанесшему ему самые жестокие диалектические удары, – строками следующего содержания:

«Киреевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром, и в которой сидел Бирон и колотил ямщика, чтобы тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей». «С них начинается перелом русской мысли. И когда *мы* (западники) это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии». «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинаковая». «У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество, – чувство безграничной, охватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как *сердце билось одно».* «Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах, да потому, что ее песнь была для нас роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнате было нам душно; все почернелые лица из-за серебряных окладов… даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у нее нет светлых воспоминаний, мы знали и другое, что ее сердце впереди, что под ее сердцем бьется зародыш – это наш меньшой брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство».

«К этим теплым, прочувствованным словам приходится прибавить очень мало. Если бы нравственная чистота была всем и

единственным, что мы можем требовать от общественного деятеля, – такие „подвижники“, как Киреевские или Константин Аксаков, были бы людьми, достойными памятника в сердце каждого русского человека. Если бы искренность и правдивость освобождали писателя от промахов логики, от неверного толкования действительных потребностей жизни, статьи Киреевского, Аксакова, Хомякова могли бы явиться каноническими – для нас, по крайней мере. К сожалению, между желаниями человека, настроением его сердца и ходом жизни – целая пропасть. Неподатливый, суровый, почти не считающийся с нашими вожделениями ход жизни одинаково ломает нравственное и безнравственное, раз оно неистинное, раз оно хочет повернуть его в ту сторону, по которой он не может идти.

Положительная сторона старого славянофильства вся без остатка исчерпывается его протестом против крепостного строя современной ему России, против закабаления личности, какие бы виды оно ни принимало. Во имя чего возник этот протест? Отчасти уже знакомые читателю исторические взгляды К. Аксакова являются лучшим ответом на этот вопрос.

В своем критическом разборе «Истории России» Соловьева К. Аксаков указал, как недостаточно сводить историю России к истории правительства в России, внешним образом и насильственно преобразующего косный народ. Начало государственное – это лишь формальная сторона в истории, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая. Воинский стан и канцелярский приказ, князь – собиратель дани, великий князь московский, дающий перевес интересам государственным над родовыми отношениями, наконец, император как просветитель, преобразователь – вот постоянная тема всех предыдущих историков, разрабатывая которую они едва имели досуг бросить какой-то боковой взгляд на стоящий в глубине сцены безмолвный, бездеятельный, безвольный народ; и невольно у читателя является вопрос, зачем, для какой нужды, для выражения какой мысли стоит этот народ?

Начало *общинное* столь же постоянно и так же повсюду проникает русскую историю, как родовое – западноевропейскую. Такова основная мысль К. Аксакова, высказанная им в статье «О древнем быте славян вообще и у русских в особенности». Это общинное начало выразилось в *вечевом* строе древней Руси; актом собравшегося в Новгороде веча было само призвание князей, начало государственности: народ не безмолвствует, не стоит, не занимает только места на громадной территории восточной Европы, но действует, мыслит, творит как живая нравственная сила. И по призвании князей вече сохраняется во всех городах,

т. е. община продолжает жить под всеми теми внешними передвижениями, которые одни, по-видимому, наполняют историю, производят в ней шум оружия, перипетии княжеских отношений. Позднее, с объединением княжеств под Москвою, общинная жизнь городов сливается и находит для себя выражение в земских соборах: это земля, призываемая на совет свободно избранным, поставленным ею над собой государством. Первый царь созывает первый земский собор. Ему принадлежит землею неоспариваемое, но с любовью утверждаемое право деятельности, закона, силы; земле принадлежит царем неоспариваемое, но бережно выслушиваемое право мнения, суждения по совести, область духа. Высшее начало соборности, согласия, любви отражается в этих отношениях.

Легко понять, как сущность этих мыслей не мирилась с крепостническим строем николаевской Руси, как она восставала против него во всеоружии своего ореола, своего понимания прошлого, своей любви. Но только сущность. Форма, облекающая ее, далека от исторической истины, ибо возможно ли, например, уместить царствование Грозного в такие строки: «Государь поступает, как ему Бог указывает, земля не поперечит его делам, она присоединяет к ним лишь свою думу, свободно выраженную, которой последовать или не последовать свободен царь»? Разумеется, нельзя; однако свободолюбивое настроение Аксакова, заставившее его вскрыть старорусскую историю до веча, нисколько не теряет своей ценности.

Почему же славянофильство не оправдало надежд своих сторонников, почему оно начало разлагаться почти на их глазах? На эти вопросы может быть только один ответ: славянофильская доктрина была не более как утопией. Как утопия она подверглась обвинению со стороны жизни и выслушала свой обвинительный приговор. На восхваление прошлого историческая наука отвечала: «это неверно»; на призыв назад, домой, ход жизни сказал: «это невозможно». Сами деятели славянофильства были поставлены в такие условия, что, не будь у них иллюзий, они должны бы давным-давно признать себя побежденными. Они были благороднейшими представителями старого родовитого дворянства; выйдя из его среды, они всем сердцем прониклись его идеалом – патриархальным строем жизни, они распространили этот идеал на всю совокупность общественных отношений; страстные, фанатически убежденные, почерпавшие свой аргумент из воспоминаний детства, из преданий целого поколения семей, они не хотели знать, что идеал, строй жизни – историческая категория, что патриархальность отношений немыслима во второй половине XIX века.

Любопытный пример в этом отношении представляет из себя жизнь Ивана Сергеевича Аксакова. Он – последний из могикан старого славянофильства, человек с громадными дарованиями, сильный публицист – словом, богато одаренная натура в любом смысле этого слова – истратил свою жизнь на создание таких планов и поддержку таких целей, которые не могут теперь привлечь никого. Вера в славянство, надежда, возлагаемая на него, не оправдались. Даже насчет войны 1877–1878 годов многие, когда-то самые горячие ее сторонники и защитники, принуждены спрашивать себя: «да из-за чего же мы воевали? Да стоило ли отвлекаться от своих внутренних дел, от всех насущных забот, чтобы преследовать романтические задачи?» А ведь из-за этих романтических задач Иван Аксаков гремел на всю Россию, шумел и волновался, как только может шуметь и волноваться искренне убежденный человек. Берлинский конгресс – вот жестоко-иронический ответ жизни на панславистские идеи Аксакова, но он не понял и не хотел понять этого.

Личная его жизнь одинаково претерпела то же самое жестоко-ироническое отношение вмешательства судьбы. Мы знаем, что защита общинных укладов, артели, мира была краеугольным камнем его блестящей общественной пропаганды. Община, артель, мир – это три устоя, на которых он строил будущее счастье русского народа. Он был их истинным палладином и, закрывая глаза на факты (что, вообще говоря, должны были делать все славянофилы), не хотел знать и видеть, что уже и в его время община, мир, артель начинали трещать и разлагаться. Но – спросим себя – что же содействовало этому процессу разложения и даже обусловливало его? Очевидно, сила денег, сила капитала и капиталистический дух наживы, индивидуализма, имущественного неравенства, который с каждым днем все более широкой волной вторгался под сень «вековых устоев» и подмывал их. Между тем личная жизнь Ивана Аксакова устроилась таким образом, что сам он как директор богатого московского банка был одним из первых и самых видных пионеров капитализма в России! Увеличивая операции своего банка, рассеивая по лицу родной земли денежную силу, строя дороги, развивая кредит, создавая могущественный финансово-промышленный план, он, этот утопист, невольно и незаметно для самого себя разрушил или содействовал разрушению той почвы, при безусловной устойчивости которой его идеалы и могли иметь какую-нибудь жизненную ценность!..

Так мстит жизнь.

И. Аксаков был несомненно таким же честным и доблестным рыцарем своей идеи, как и его брат, как и те люди, под

восторженные речи которых прошло его детство и юность. Тем характернее и поучительнее то обстоятельство, что он очутился во главе капиталистического предприятия и был вынужден правой рукой разрушить то, что создавал левой…

В еще более поучительном виде предстанет перед нами падение славянофильства, если мы проследим, хотя бы вкратце, процесс его вырождения. В своей первоначальной, очевидно слишком уже непрактичной, форме оно не могло долго оставаться, – во что же оно превратилось?

«История славянофильства, – говорит Владимир Соловьев, – есть лишь постепенное обличение той внутренней двойственности непримиренных и непримиримых мотивов, которая с самого начала легла в основу этого искусственного движения. Кто-то из русских писателей довольно хорошо выразил эту роковую для славянофилов двойственность, назвав их археологическими либералами. Прежде всего, славянофилы хотели бороться против петровской реформы, против западноевропейских начал во имя древней, московской Руси. Но рядом с этим реакционно-археологическим мотивом столь же существенный интерес имела для них прогрессивно-либеральная борьба против действительных зол современной им России, – той России, которая, по словам Хомякова, была

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймлена —
в которой, по словам И. Аксакова,
Сплошного зла стоит твердыня,
Царит бессмысленная ложь.

Мы видели, как резко и рельефно отразилось это непримиренное и непримиримое противоречие в деятельности И. Аксакова, который положительно смущал своих читателей, являясь перед ними то в качестве гонимого и даже выселяемого из столицы, то – хориста катковского хора. Но ему как славянофилу ума и сердца ничего другого не оставалось делать…

«…В доктрине славянофилов не было бы никакого противоречия, если бы все русское зло было у нас произведением европейской образованности, если бы оно не существовало в России до Петра и если бы против него можно было бороться во имя каких-нибудь особых „русских начал“. Но на самом деле все было как раз наоборот. „Клеймо рабского ига“ и „черная неправда судов“ были прямым наследием старой московской Руси, остатком допетровского времени, и бороться против этих самобытно-русских явлений славянофилам приходилось вместе с

западниками во имя чужих, европейских идей. Они не могли не знать, что современное им крепостное право было лишь смягченною (благодаря Петру Великому и его преемникам) формою старинного холопства, и что допетровские суды и приказы еще менее отличались неподкупностью, нежели бюрократические учреждения николаевских времен. При всем желании сваливать на Европу все наши грехи, славянофилы никак не могли, однако, видеть в бесправном холопстве и в шемякинах судах плоды европейничанья; они должны были, напротив, волей-неволей признать, что постепенное смягчение наших туземных язв происходило со времен Петра Великого под влиянием европейского образования, а в таком случае странно было бы искать окончательного исцеления в антиевропейской реакции, в повороте к допетровским началам. Никак нельзя было отделаться от того очевидного факта, что крепостники-помещики и взяточники-чиновники менее причастны были европейскому образованию, гораздо ближе по духу стояли к старорусской жизни, нежели их противники и обличители как западники, так и сами славянофилы, которые могли бороться против нашей общественной неправды *единственно только в качестве европейцев,* ибо только в общей сокровищнице европейских идей могли они найти мотивы и оправдание для этой борьбы».

Надо посмотреть теперь, как развивалось то противоречие. Разумеется, пока критики не трогали его, оно существовало совершенно мирно. Киреевский, Хомяков, К. Аксаков как нельзя лучше умещали его в своей груди и даже не подозревали, до чего оно грозное. Но вот что случилось.

Циркуляр министра внутренних дел, разъяснивший в 1853 году несовместимость бороды с дворянским мундиром, был если и не самым основательным, то во всяком случае самым успешным изо всех министерских циркуляров. Он сразу и навсегда положил конец тому фазису славянофильства, в котором вопрос о «русском направлении» сливался с вопросом о русском платье. Когда несколько лет спустя всем русским подданным возвращено было право облекаться в какую угодно, хотя бы азиатскую, одежду, славянофильство этим правом уже не воспользовалось, и слова Хомякова о необходимости «слиться» с жизнью русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать, «обрядным единством, как средством достижения единства истинного и еще более как видимым его образом», – остались без всякого последствия.

Итак, славянофильство вдруг оказалось гонимым, и притом с двух сторон: правительством за либерализм (мурмолка, борода и пр.), либералами – за «археологию». Доктрина, как совмещавшая

в себе непримиримые противоречия, никому не показалась по вкусу. С одной стороны говорилось: «раз вы ненавидите современный строй, то вы – преступники, хотя бы и терпимые еще», с другой: «раз вы ненавидите современный строй, то будьте искренни. Ибо с какой точки зрения ненавидите вы его? С точки зрения собственного достоинства? Личной свободы? Прекрасно: все это – западноевропейские начала. Итак, искренне и откровенно примкните к нам».

Но сделать это славянофилы не хотели и не могли. Самые преданные из них, «иллюзионеры», позволили развиться противоречию до того, что, вроде Ивана Аксакова, проповедовали общину, артель и пр., служа директорами в банке; другие, поняв существование противоречия, решились отделаться от него, превратив «славянофильство» в *«национализм».*

Что такое национализм? Это именно одна, *правая* сторона славянофильства.

Славянофилы всегда исходили из мысли, что русский народ особенный, т. е. такой, которому указаны другие пути, чем народам западноевропейским. У тех – индивидуализм и борьба личности с личностью за счастье; у нас – община; у тех политическая свобода – нам этого не надо и т. д. Но русский народ не только особенный, он – *лучший* народ изо всех существующих. Он совокупляет в себе блестящие качества, он переустроит жизнь по идеальному христианскому образу. Эта часть славянофильской доктрины пришлась как нельзя более к дому. Киреевский, Хомяков, Аксаков твердили, что прошлое наше безупречно, как чисто русское, не загрязненное западноевропейскими началами, но современность полна грехами. Их преемникам, чтобы выбраться из рокового противоречия, оставалось объявить грехи добродетелью. Они так и сделали.

«Законные наследники славянофильства, – говорит Владимир Соловьев, – уже не находят нужным подставлять небывалые совершенства под действительные недостатки: в самих этих недостатках они видят настоящее преимущество России перед человечеством. Главный недостаток нашей духовной жизни – это неосмысленность нашей веры, пристрастие к традиционной букве и равнодушие к религиозной *мысли,* склонность принимать благочестие за *всю* религию, а само благочестие отождествлять с обрядом. Этот несомненный недостаток, и теперь бросающийся у нас в глаза, сообщил весьма печальный характер и единственному значительному религиозному движению в русской истории – расколу старообрядчества. И вот оказывается, что это ненормальное пристрастие к традиционной обрядности в ущерб

другим, умственным и нравственным элементам религии, – что эта болезнь русского духа есть настоящее здоровье и великое преимущество нашего благочестия перед религиозностью западных народов. Те, если верят, то и мыслят о предметах своей веры и стараются познать их как можно лучше; мы верим без всяких рассуждений, предметы веры мы не считаем предметами мышления и познания, т. е., другими словами, мы верим сами не зная во что, – не очевидно ли наше преимущество? Иностранцы, рассуждая о религии, предаются вместе с тем и религиозной деятельности, организуют благотворительные учреждения у себя дома, просветительные миссии среди диких народов и т. п.; мы вообще воздерживаемся от этого суетного подвижничества, предаваясь, главным образом, подвигам молитвенным, утешаясь обилием земных поклонов, продолжительностью и благолепием церковных служб. Не ясно ли наше превосходство: мы служим только Богу, а служение страждущему человечеству предоставляем ложным религиям гнилого Запада».

Так же легко совершается превращение недостатков в достоинства и в области гражданской жизни. Главная наша немощь здесь состоит в слабом развитии личности, а чрез это и в слабом развитии общественности; ибо эти два элемента соотносительны между собою. И вот культ, доходящий до апофеоза Ивана Грозного, возводит в принцип коренное бедствие нашей жизни, указывает в нем наше главное превосходство над западной цивилизацией, погибающей будто бы от доктринерских идей законности и права. Эту ненависть к юридическому элементу в народной жизни наши новейшие патриоты разделяют со старыми славянофилами, с той, впрочем, разницею, что закону и праву противополагается как высшее начало у одних – братская любовь, а у других – кулак и палка. При всей неудовлетворительности этого последнего принципа, в нем, по крайней мере, нет никакой фальши, тогда как братская любовь, выставляемая как действительное историческое начало общественной жизни у какого бы то ни было народа, есть просто ложь».

Таким образом, роковое развитие противоречий необходимо привело к превращению славянофильства в национализм, – т. е. в обоготворение существующего, в идеализацию самих себя. Ничего не может быть опаснее этого для народной жизни. Самодовольство и самохвальство – первые враги всякого развития, всякого движения вперед. Особенность русского народа, его якобы оригинальность является постоянным тормозом необходимого развития действительных начал его жизни. Бросить славянофильские фразы – давно пора. Надо же

понять наконец, что наш путь развития и путь Западной Европы – тот же самый.

Источники

1. Сочинения С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых.
2. Критико-биографический словарь *С. Венгерова*. Т.1.
3. *Вл. Соловьев.* «Национальный вопрос в России». Т.2.
4. *Мих. Бо…рн.* Происхождение славянофильства.

notes

Примечания

1

«Оставьте всякую надежду» *(ит.)*. Из Данте: «lasciate ogni speranza voi qu'entrate – „оставь надежду всяк сюда входящий“

2

К вящей славе Гегеля *(лат.)*

З

Батырщик («батырить» – *ит.* «battere» – «бить») – в старину рабочий в типографии, наводящий краску на набор; переносное значение – неквалифицированный рабочий печатного цеха типографии

Хорошо это: «по крайней мере»!

5

Куверт (фр. *couvert)* – столовый прибор

6

Ферула – *лат.* – раньше так называли линейку, которой били по ладоням ленивых школьников. Еще ряд значений «руководство», «указка», «строгое обращение», «тяжелый режим». «Под ферулой» – т. е. «под началом»

«здесь и зарыта собака» *(нем.)*

включительно *(лат.)*

по желанию, на выбор *(лат.)*

временное соглашение спорящих *(лат.)*

но он человек совершенно приличный *(фр.)*

12

В комедии К.Аксакова «Князь Луповицкий»

13

Милленарий, миленарий (от *лат.* mille – тысяча. Миленаризм – хилиазм (гр. chiliazmos – тысяча) – учение о тысячелетнем земном царствовании Христа перед наступлением конца мира

14

«Стень» – тень (словарь В. Даля)

больший роялист, чем сам король *(фр.)*